# Музыка призраков

**Автор:**
Вэдей Ратнер

Музыка призраков

Вэдей Ратнер

Роман-сенсация

Бежав из Камбоджи в безопасную Америку, Тира впервые возвращается на родину. Ей нужно встретиться с таинственным незнакомцем по прозвищу Старый Музыкант, который послал ей письмо, где обещал рассказать правду об отце Тиры. О нем и его загадочном исчезновении 25 лет назад.

Тира приедет и искать разгадки, и открыть сосуды своей памяти. В Камбодже до сих пор не могут забыть «красных кхмеров»: жертвы и палачи живут бок о бок, не находя покоя.

«Музыка призраков» – пронзительный гимн прощению, трагическое путешествие в прошлое, куда нужно вернуться, чтобы начать жизнь заново и обрести любовь.

Вэдей Ратнер

Музыка призраков

Vaddey Ratner

Music of the Ghosts

© Мышакова О., перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

Посвящается жизням и красоте, вдохновившим эти страницы.

Эта книга является художественным вымыслом. Любые упоминания исторических событий, реальных личностей и мест носят фиктивный характер. Прочие имена, персонажи, места и события являются плодом воображения автора. Любое сходство с реальными событиями, местами или людьми, ныне здравствующими или покойными, является случайным совпадением.

## Вступление

Сутира проснулась среди высокой травы от странной вибрации где-то совсем рядом. Несколько мгновений она не могла понять, что это. Сперва показалось – музыка, дрожь задетой струны старинного инструмента, на котором отец играл ей в детстве колыбельную, – Сутира забыла название. Она многое забыла – вкус настоящей еды, голос своего отца, кем она была до того, как умерли мама и братишка, до прихода голода и страха.

Дрожь не утихала. Замерев, Сутира прислушивалась. Вибрация доносилась с соседнего поля, но за глинистым пригорком ничего не разглядеть. Не надо бояться, убеждала себя Сутира. Тетка Амара спит рядом на жесткой земле, чуть смягченной покрывалом тщательно осмотренной травы. Вокруг, рассеянные среди рисовой стерни и травинок, забылись сном другие члены их группы. Уже сумерки, небо мягкого золотого цвета. Скоро совсем стемнеет, все проснутся и продолжат безоглядное бегство к тайской границе. Несмотря на то что позади остался немалый отрезок пути, Сутира не могла избавиться от ощущения, что за ними по пятам кто-то идет.

Совсем недавно красные кхмеры, отступая после проигранного боя с вошедшими в Камбоджу вьетнамскими частями, выгнали жителей деревни в джунгли. На полпути ее дед и бабушка, у которых не было сил продолжать поход, заставили Сутиру и свою младшую дочь Амару идти дальше без них. Тетка обещала вернуться, как только они найдут помощь, но все понимали – это нереально, этого никогда не будет. Спустя несколько дней или даже недель они вышли из джунглей и оказались среди рисовых полей с торчащими сухими стеблями – рис давно убрали. Солнце быстро садилось – огромный переливающийся шар оседлал горизонт, окрасив небо и землю в огненный цвет. Необычный для этого времени года, только что кончился дождь – вдали висела бледная радуга. Сутира осторожно пробиралась между телами неизвестной семьи, переступая брошенные как попало пожитки, среди которых была и рваная наволочка с золотом и драгоценными камнями. Солдаты сказали, что они могут брать все, что хотят, но жители деревни качали головами и шарахались от трупов.

Испуганная Сутира взяла за руку молодого солдатика, шедшего рядом. Он не отнял руки и тихо велел ей держаться поближе к трупам и по возможности наступать на них, потому что они – самая безопасная дорога. Этих застрелили, сказал он, показывая на совершенно целые тела, – никаких оторванных конечностей, лежат будто спящие. Солдатик начал насвистывать колыбельную, чтобы успокоить Сутиру или, возможно, себя, и ступал осторожнее. Командиры решили срезать путь через рисовое поле в обход широкой открытой дороги – такие в основном и минировали. Оглянувшись, Сутира увидела, как Амара украдкой нагнулась и что-то подняла. Не надо, хотела сказать Сутира, не воруй у мертвых. Но было уже поздно. Золотая цепочка сверкнула, свесившись из кулака Амары, и отправилась в карман ее рубашки. Сутира снова стала смотреть вперед, крепче сжав руку солдата и глядя на далекую радугу. Они пересекали одно поле за другим, идя тропой многих тел, других семей и нового золота. Внезапно из леса впереди донеслась негромкая музыка – играл какой-то струнный инструмент.

– Вроде лютня, – сказал один из мужчин постарше, еще помнивший традиционное искусство. – Поблизости должна быть хижина фермера и его семьи, ухаживал же кто-то за этими полями.

С этим все согласились. Идущие впереди ускорили шаги, и вдруг без предупреждения поле приподнялось от взрыва, полетели куски земли и плоти. Кровь брызнула на сухие пожелтевшие стебли.

Остались только Сутира, ее молодая тетка и еще несколько человек, находившихся достаточно далеко, когда сдетонировали мины. Остальные погибли. Кого или что они слышали – человека, лесного духа, шелест бамбуковых листьев, треск цикад или же с группой приключилась коллективная галлюцинация? Они никогда не узнают.

Сутира прислушивалась, не раздастся ли снова разбудивший ее звук. Наверное, показалось. Снова галлюцинация, подумала она. Рядом на траве свернулась Амара, ровно дыша во сне. Сейчас, с закрытыми глазами и спокойным лицом, Амара сама казалась ребенком, а не девушкой, на которую оставили Сутиру. Насколько они знали, из всей семьи уцелели только они. Ничего не было известно об отце Сутиры, жив он или мертв, он пропал уже давно, самым первым. Им с Амарой повезло: остальные беженцы почти все были одиноки – их близкие были убиты или же сами умерли от голода и болезней. Видимо, поэтому люди решились бежать в Таиланд – здесь их больше никто и ничто не держало. Домов не осталось, только эта земля открытых могил.

Тетка глубоко вздохнула во сне и повернулась на другой бок, откинув руку на скудные пожитки, словно защищая их от полевых мышей, которые могут попытаться проникнуть в горшок с рисом, где хранилась золотая цепочка. Опустив цепочку в горшок, где варился рис, Амара объяснила – так они уберегут драгоценность от бандитов и пограничников. Ворам не придет в голову разломить комочек риса не больше костлявого кулачка Сутиры. Тетка очень старалась, чтобы комок выглядел естественно – съела рис вокруг него, а этот словно забыла, придав ему неровную форму. Цепочка поможет им выжить, сказала она Сутире, за границей ее можно будет обменять на еду и ночлег. Призраки нас не оставят, подумала Сутира, они последуют за нами всюду, куда бы мы ни пошли.

Вибрация возобновилась, на этот раз сопровождаемая скрипом – совсем немузыкальным скрежетом металла о камень. Сутира услышала насвистывание и сразу поняла – это молодой солдатик, товарищ Чи, как она его называла. Теперь он просто Чи. Он единственный выжил из банды красных кхмеров – его командиры, те, кто ушел вперед, подорвались на минах. Ему поручили замыкать группу и следить за теми, кто шел медленно, как Сутира и ее тетка. Чи был младшим из семерых бойцов и совсем не походил на солдата. Возможно, он новобранец, которого выдернули с родных полей, когда началась война с Вьетнамом.

Сутира встала и пошла на звук по высокой траве.

При виде ее Чи перестал насвистывать. Сутира присела на корточки, уткнувшись подбородком в колени, и смотрела, как он острит нож о вросший в землю камень. Когда начали взрываться мины, Чи схватил Сутиру в охапку, как маленькую, и метнулся за ствол пальмы, мимо которой они проходили. Остальные скопом побежали за ними, стараясь ступать по следам Чи. Когда все стихло – комья земли попадали обратно, а мертвые остались мертвыми, Чи бросил автомат, сказав, что он бесполезен, патроны кончились в последней стычке с вьетнамцами. С него хватит, сказал Чи без всякого пафоса или аффекта, тем же голосом, каким подсказывал Сутире наступать на покойников. Ему еще не доводилось убивать вне поля боя, но он навидался смертей и больше не желает. Чи знал дорогу в Таиланд – до войны ему случалось перегонять молодых буйволов и пони на границу для продажи. Больше он ничего не сказал. По своим следам солдатик вышел с рисового поля на узкую грязную тропинку, откуда группа начала переход. Он ждал. Кто хочет пойти в Таиланд? Хотели все. За кем еще им было идти? Мертвые останутся мертвыми. Несколько дней назад Чи был одним из врагов, а сейчас стал защитником и проводником. Его нож – единственная оборона от встречных бандитов, диких животных и воображаемых звуков.

– Я думала, это музыка, – призналась Сутира.

Между ними завязалась некая дружба. На вид Чи был ровесником ее тетки – даже моложе, лет семнадцати-восемнадцати, а Сутире тринадцать, если люди говорят правду и идет семьдесят девятый год. Они живут в этом аду четыре года, а кажется – целую жизнь. Но сейчас не имело значения, сколько ей лет или сколько было до всего этого кошмара, когда приходится спать среди трупов, дышать от их отлетевшего дыхания и красть у них, чтобы прокормиться. Сутира понимала, что завтра ее, возможно, не будет в живых.

– Здесь, – совсем тихо отозвался Чи, будто боясь ее напугать, – есть только музыка призраков.

## Часть первая

Ощупью пробираясь в тесном пространстве своей хижины, он водил в темноте руками, ища садив среди мутных расплывчатых теней, которые различал его единственный зрячий глаз. Во сне лютня звала его, пробиваясь в сознание надрывными щипками струн, пока Старый Музыкант не проснулся от постороннего присутствия. Наконец пальцы нашли инструмент: садив косо лежал на бамбуковой койке, забывшись сном без сновидений. Палец нечаянно задел медную струну, вызвав тихое «кток», похожее на причмокивание младенца. Старый Музыкант был почти слеп – левый глаз давным-давно вытек от удара дубинки, правый стал плохо видеть с возрастом – и больше доверял остальным чувствам. Но сейчас он видел ее, ощущал ее присутствие – не как призрака, заполнившего собой крохотную хижину, не как завладевшей им навязчивой идеи, но как страстное желание на грани воплощения. Он чувствовал приближение той, что унаследует садив, старинный инструмент для заклинания духов умерших, словно случайная нота вызвала ее из небытия.

Он прижал лютню к груди, пробудив от сонной немоты, как часто держал маленькую дочь – много лет назад, в другой жизни – сердце к сердцу, а крошечная головка склонялась ему на плечо. Из всего, о чем он старался забыть, старик позволял себе – без ограничений и чувства вины – отдушину этого воспоминания: дочкина шейка, прильнувшая к его коже, повторяющая изгибы нежности, словно два органа единой анатомии.

– Почему ты такая мягкая? – спрашивал он, и дочка всякий раз восклицала:

– Потому что вокруг меня вращаются спутники!

Он смеялся над рассудительностью, с которой малышка произносила свой нелогичный ответ, – будто научную истину или древнюю мудрость, глубокий смысл которой от него ускользал. Когда она подросла и уже могла объяснить загадку своих слов, Старый Музыкант напомнил ей ту фразу, но девочка совсем ее забыла.

– Папа, я уже не ребенок! – отрезала она совершенно по-взрослому, уколов отца в самое сердце. Это было все равно что сказать: «Папа, ты мне больше не нужен». Взглядом она оттолкнула того, кто отказался от нее, а он опечалился, что дочка подросла: ему не хватало прежней малышки и абсолютного доверия, которым она удостаивала отца.

Что-то текучее и неудержимое рванулось в нем из глубины и собралось за глазами. Старый Музыкант убеждал себя, что роскошь подобных эмоций не для него. Скорбь – привилегия безгрешных, он не смеет на нее притязать. У него нет права на скорбь. В конце концов, что он потерял? Ничего, с чем не был готов расстаться. Однако что-то сродни грусти или раскаянью вытекало из него, как копившаяся целый сезон дождевая вода, пробираясь по ущельям и каньонам обезображенного лица, глубоко врезаясь в географию его вины.

Он провел пальцами по тонкой полоске на месте давно зажившей раны: шрам, чуть светлее коричневой кожи, пересекавший лицо наискось, от переносицы до края левой щеки, создавал иллюзию двух соединенных половинок, где в левой доминировал белый от катаракты глаз, а в правой – мелкие рубцы.

Если бы дочь увидела его сейчас, сравнила бы она изрытость его лица с поверхностью Луны? Как бы она описала его грубую внешность? Увидела бы в ней что-нибудь поэтическое? Нашла бы таинственно-утешительную фразу для его непоправимого увечья? Раньше он не связывал мягкость дочкиной кожи и ее воображаемые спутники, а теперь гадал, не ассоциировалась ли у малышки бархатистая поверхность далекой полной луны с нежностью сна, с прелестью грез, заставляющих тело расслабляться и делаться мягче. Но это было чересчур рациональным умозаключением – Старый Музыкант уже не мог доверять своим ассоциациям с полной луной. В последний раз он четко видел луну больше двадцати лет назад, в ту ночь, когда Сохон умер в Слэк Даеке, одной из многих тюрем тайной полиции Пол Пота по всей стране, которые называли кодовым эвфемизмом «сала». Школа. В тот вечер в «школе» Слэк Даек луна купалась не только в жидком нежном блеске, но и в нестерпимо ярком цвете крови Сохона, крови, которая теперь окрашивает видимое единственному глазу Старого Музыканта и порой изменяет оттенок и текстуру его воспоминаний. Истину.

Он прикрыл глаза, потому что усилие не закрывать их начало напрягать мышцы и нервы правого глаза, словно левый, не зная о своей бесполезности, о своем ущербном существовании, старался не отстать от собрата. Старый Музыкант находил в этом квинтэссенцию своего положения: он мертв, но тело еще не осознало своей смерти.

Сунув руку в карман хлопковой туники, висевшей на бамбуковом колышке над подушкой, он вынул медиатор, похожий на наперсток с заостренной вершиной, надеваемый на кончик пальца. В прежние времена медиаторы делали из бронзы или, если музыкант был богат, из серебра и золота. Этот медиатор был сделан из

переплавленной пули.

– Искусство из войны, – сказал, вручая ему медиатор, доктор Нарунн, который лечит бедняков и жертв насилия и пыток. Осмотрев Старого Музыканта, он сообщил, что катаракта, затянувшая левый зрачок, вызвана неизлечимой «гифемой». Английское слово, обратил внимание Старый Музыкант, медицинский термин. Зрение, замутившееся от пролитой крови. То есть, как объяснил молодой врач, «кровоизлияние в передний отдел глаза, между роговицей и радужкой, вследствие тупой травмы, полученной, видимо, в то время, когда лечить вас было нечем». Доктор не спросил о происхождении травмы, будто рытвины и шрамы на лице Старого Музыканта прозрачно намекали на тупую силу идеологии: в этой стране войн, революций и кровопролитных переворотов политика не просто риторика, а скорее дубина, которой формируют судьбу человека.

У доктора Нарунна хватило такта не расспрашивать. Вместо этого он рассказал Старому Музыканту, что бронзовый медиатор сделан молодой женщиной, оставшейся без половины лица после того, как ее облили кислотой; она старается вернуть себе хотя бы нормальную жизнь, раз уж не внешность, и в рамках реабилитационной программы для калек и инвалидов учится делать украшения.

– Надежда – тоже своего рода драгоценность, согласны? – размышлял вслух молодой врач. – Она одновременно тверда, как металл, и пластична.

А еще, подумал Старый Музыкант, это единственная оборотная валюта в стране, где неожиданно может воцариться хаос и обесценить все, включая человеческую жизнь.

Он надел медиатор на безымянный палец правой руки. Лишенной ногтя коже бронза казалась тяжелой и прохладной. Ноготь на этом пальце не рос из поврежденной лунки – эта луна тоже навсегда пропала от удара рукояткой пистолета следователя. Остальные ногти, утолщенные, деформированные, некоторые растут только до половины прежнего размера. Старый Музыкант не переставал удивляться, что все еще что-то чувствует своими пальцами, будто травмы двадцатилетней давности только усилили их настороженность к любому контакту въевшимся страхом новых увечий.

Он наклонил садив так, чтобы инструмент лег на грудь диагонально, открытой стороной резонирующей коробки туда, где отчетливо слышалось биение сердца. Этот купольный резонатор улавливал малейшие колебания и движения. «Ксэ див», – называют его некоторые. Старый Музыкант не любил это название – жесткое «кс» царапало горло, будто твердость первой согласной, нажимая на хрупкость второй, неизбежно вела к предательству звука. Он предпочитал говорить «садив», чтобы слоги переходили друг в друга плавно и слово казалось шепотом, мягким, тающим, очень похожим на собственное эхо. Закрыв глаза, он глубоко вздохнул, как делал перед каждым выступлением, и нырнул глубже шума в голове, глубже всплывающих воспоминаний и истерзанной совести – до самого дна тишины. Надежно укрепив бронзовый медиатор безымянным пальцем правой руки, Музыкант начал нежно пощипывать нижнюю часть струны; выше на ней его пальцы плели какой-то сложный танец. Он играл песню, которую посвятил появлению в своей жизни дочери, когда еще был только музыкантом.

– Я думал, я один. Я бродил по вселенной, ища другого… – Он помнит день, когда принес дочку домой из больницы. Ее дыхание было таким слабым, что хотелось его поддержать нотами и словами. – Я набрел на отражение… и увидел, что это ты стоишь на краю моего сна.

Старый Музыкант немного поправил садив на груди. Он часто видел ее во сне – не свою дочь, а девочку, которой на самом деле принадлежала эта лютня. Только она уже не трехлетняя малышка, которую он видел всего однажды… Он гадал, каким человеком она выросла. Он не осмеливался смешивать маленькую дочь, которую потерял много лет назад, и женщину, встречи с которой ждал сейчас. Они не один и тот же человек, напоминал он себе, не один! А ты, ты не он. И никогда не можешь им стать – тем, кого она потеряла.

Иногда воспоминания бунтуют и память затевает игру, искушающе шепча, что прошлое можно изменить, наверстать пропущенные годы, дать ей то, что он у нее украл, искупить, загладить… Но что конкретно? Предательство себя и своей совести? На это он надеялся, когда решился ей написать? Ищет ли он прощения за свои преступления или всего лишь хочет передать инструменты ее отца?

Старый Музыкант снова подумал о своем письме – не о том, что в нем написано, а о том, что читалось между строк, признавалось почти открыто… «Я знал вашего отца. Мы с ним были…» Из-за слабеющего зрения ему потребовалось прибегнуть к помощи молодого врача, и здесь он велел доктору Нарунну

вычеркнуть начало фразы. Потом доктор хотел переписать текст набело, но Старый Музыкант не позволил. Он пошлет письмо как есть, с помаркой, словно желая, чтобы она увидела двойственность его мыслей, предательскую натуру ума. «Мы с ним были…» То, чем они были – людьми, животными, двумя сторонами одной реальности, – уничтожено одним точным ударом, рассечено одним взмахом лезвия.

Старый Музыкант сдвинул пальцы левой руки ближе к резонатору, вырезанному из тыквы, породив повторяющиеся обертоны, похожие на эхо или рябь на поверхности пруда.

– Я думал, я один. Я шел по вселенной, ища твои следы. Я слышал эхо своего сердца… и видел, как ты стоишь на краю моего сна…

Качество каждой ноты – ее резонанс и насыщенность – варьировалось, когда он двигал плоскую сторону долбленой тыквы по своей груди. Он дергал струну быстрее и жестче, достигая крещендо, и наконец тремя отрывистыми нотами закончил песню.

Тира смотрела на облака, нежно обтекавшие крыло самолета. Они проплывали не спеша, скользя с неуловимой скоростью, сливаясь друг с другом, как фрагменты детских воспоминаний.

– Мы так быстро движемся, будто стоим на месте, – сказала Амара, когда они как беженки летели в Америку. Тогда Тира не поняла, как это скорость может быть неподвижностью. Теперь ей казалось, что Амара говорила об отрешенности, о странной внутренней подвешенности: несешься вперед с такой невероятной скоростью, что чувствуешь себя парализованной, неспособной чувствовать и осознавать происходящее.

Прошло больше получаса после взлета из Куала-Лумпура. Пестрые магазины дьюти-фри сменились белизной неба, не знающего преград. Самолет занял крейсерскую высоту, объявил капитан. Тире казалось, ее несет, как пушинку. Куда – она не знала: будущее и прошлое вдруг оказались рядом, и границ между ними не существовало.

Тира отвернулась от окна и, прикрыв глаза, попыталась расслабиться, прижимая к себе большую спортивную сумку, точно та была якорем. При этом девушка прекрасно знала, что именно содержимое сумки и есть причина этого безрассудного путешествия. В голове крутились события последних месяцев – смерть тетки, буддистская церемония кремации в середине миннесотской зимы, неожиданное письмо от незнакомого старого музыканта, увольнение из местного Дома творчества с должности специалиста по участию в грантовых конкурсах – и этот перелет через полмира. Год назад Тира и представить бы не смогла жизни без Амары или что в одиночку решится лететь туда, откуда они бежали, бросив все.

Срок Кхмер – так называют свою страну камбоджийцы, и никогда – Камбоджа, ибо Камбоджа для них синоним войны, революции и геноцида, а Срок Кхмер существует в географии сердца, в тоске по утраченному. Для Тиры потеря ограничивалась домом ее детства и со временем становилась все меньше, как звезда, свет которой чем дальше, тем слабее. Остальное – разрушение, убийства и лишения – у Тиры не ассоциировалось, не желало связываться с ее маленькой внутренней Камбоджей. То было в Демократической Кампучии Пол Пота, сгинувшей вместе с ее семьей.

Женский голос в интеркоме объявил, что сейчас будет подан завтрак. В салоне началось движение – пассажиры опускали перед собой столики в ожидании еды. Из разговоров вокруг Тира поняла, что для многих камбоджийцев, живущих за границей, этот перелет – ежегодное паломничество, которое они совершают уже десять лет, с самых выборов 1993 года, спонсированных ООН. Не смущаясь стюардесс, развозивших еду и напитки, представители диаспоры охотно рассказывали о себе. Им непременно хотелось узнать, из какой части Америки их попутчики, будто название городка сразу объясняло причину их разобщенности. Они предавались воспоминаниям о довоенных временах, «до Пол Потишки», всегда с уничижительным суффиксом, с подчеркнутым презрением к Пол Поту, который для каждого камбоджийца, включая Тиру, был не просто человеком или даже чудовищем, а навсегда останется страшным символом эпохи.

– А вы где были при Пол Потишке?

Порой Тиру охватывал пессимизм – ей казалось, это и есть подлинное торжество зла. Имя Пол Пота живет наравне с именами героев и святых, упомянуто в учебниках истории, слетает с губ взрослых и детей, приобретая значительность и постоянство в коллективном сознании, даже при том, что у коллективного

сознания иммунитет к любым именам.

– Я был в Баттамбанге, – заговорил один из пассажиров, перегнувшись к соседу через проход. – Ужасное, ужасное место! Столько смертей… А вы?

Тира знала, что они не осмелятся расспрашивать больше названий провинций, скупых воспоминаний и двух-трех фраз об испытаниях, выпавших на долю семьи. Пережитое можно было выразить одним вопросом, звучавшим во всех диалогах, которые доносились до слуха Тиры:

– А родственники у вас там еще остались?

Отрицательное покачивание головой было красноречивее слов. При этом на вопросы некамбоджийцев ее спутники, как и миннесотская диаспора, отделывались скороговоркой вроде: «Наша жизнь не единожды висела на волоске, но, к счастью, нам удалось выжить на полях смерти». Дежурные телевизионные и газетные клише. Слова, переработанные, отжатые и очищенные от всякой двусмысленности, не оставляющие сомнений в том, кто виноват, а кто невиновен.

– Мы кхмеры, но эти красные кхмеры были не пойми кем! Настоящий камбоджиец никогда не убил бы другого камбоджийца!

Тира сидела молча, доверяя мысли ручке и бумаге, пустившись в собственный полет со словами-попутчиками под музыку пульсировавших в ней эмоций. Эта музыка слышалась в биении ее сердца и ритме дыхания.

Старый Музыкант осторожно положил садив, будто укладывая в кровать спящего ребенка. В верхнем углу бамбуковой койки, между узлов с одеждой, скромно притулились спутники садива: сралай, род гобоя, и сампо, маленький узкий барабан. Сделанные в годы революции, эти инструменты были моложе, новее садива, но Старый Музыкант чувствовал глубокую нежность ко всем трем, потому что даже в своем неодушевленном молчании они казались наделенными сознанием. Они будто знали его жизнь, историю и преступление, но прощали и всегда отзывались на его призыв, даря музыку, в которой он искал исцеления. Почти два с половиной десятилетия инструменты были его спутниками, единственной семьей. Сейчас же Старый Музыкант предчувствовал разлуку –

приближалась его давно запаздывавшая кончина, и инструментам предстояло вернуться в любящие руки.

Прошло уже больше шести недель после отправки письма, и в мрачные ночные часы он думал о скорой встрече и представлял, как угадает в ее лице черты мертвеца.

В воздухе поплыл первый негромкий звон храмового колокола, призывавшего к медитации. Старый Музыкант глубоко вдыхает, очищая ум от сутолоки мыслей. Пусть это приносит лишь краткий покой, но сами вдохи и выдохи позволяют понять, что его тело, как и храмовый колокол, – просто инструмент, сам по себе пустотелый и немой, однако при ударе способный воспроизводить весь диапазон звуков, а смутный гул мыслей – не постоянная, как можно предположить, а самопроизвольная вибрация, короткая и иллюзорная.

– Наше существование лишь иллюзия, – скоро затянут нараспев монахи буддистскую сутру, которую они повторяют день и ночь. – Страдание и отчаяние лишь кажутся реальными. Отпусти от себя желания и привязанности, и обретешь внутренний покой.

Старому Музыканту нравилось находить утешение в этих словах, да только вот, по этой логике, душевный покой, или какое там утешение он себе позволял, – тоже иллюзия. Невозможно отрицать страдания и нищету вокруг: безногие и безрукие калеки выпрашивают милостыню у ворот рынка – увечья они получили, подорвавшись на минах на сельских дорогах или рисовых полях. Безумные оборванные старые вдовы бродят по городским улицам, потому что похоронили всех родных до последнего, может быть, даже видели казнь своих детей. Сироты роются на свалках в поисках пропитания, потому что любые отбросы притупляют их голод и хоть немного прячут выпирающие кости. Они реальны, эти сломанные жизни, их борьба за выживание далека от фальшивых уколов его уязвленной совести. Медитация только заставляет увидеть это яснее. Единственная иллюзия, в которую Старый Музыкант разрешал себе верить, – что он непричастен к бедствиям, творящимся сейчас.

Невероятность его ситуации несуразна, возмутительна: как вышло, что его приютили в храме, чьи верования и обычаи он когда-то отверг, чьих обитателей солдаты его вымечтанной революции насильно расстригали и убивали? Если карма – это неизбежность расплаты за преступления, тогда храм – последнее место, где ему должны были предложить кров. Как получилось, что его

приютили те, чью братию убивали его солдаты? Какие складки и изгибы закона кармы привели его в этот анклав милосердия, когда по его деяниям ему полагается жизнь-наказание?

В начале 1979 года, когда после падения режима красных кхмеров Старого Музыканта выпустили из Слэк Даека, он ушел в джунгли – зализывать раны и скрывать свой позор, но за несколько месяцев полной изоляции дошел до предела. Раз его час еще не пробил, он проживет остаток дней среди людей, а не с призраками, наседавшими со всех сторон: ему мерещились изуродованные лица и нечеловеческие вопли тех, кого замучили в Слэк Даеке. Он покинул джунгли и вернулся в мир живых – в то, что от него осталось. Он пришел в деревню, где никого не знал и где никто не узнал его в изувеченном калеке, и зажил тихой жизнью, зарабатывая музыкой, играя в основном на похоронах или церемониях вызывания духов. Однажды на похоронах деревенского старосты, заворачивая в газету причитающуюся ему плату – жареную рыбу с рисом, он увидел статью с призывом создать трибунал и судить «ответственных за преступления кровавого режима красных кхмеров».

Красные кхмеры – Старый Музыкант задержал эти слова на языке, точно пробуя на вкус, и на минуту увидел себя глазами других, узнай они о его прошлом. Он вглядывался в пятна от масла и специй, пропитавших газету и превративших густо-черные буквы в прозрачные, но не нашел своего имени. Кем ему себя считать, гадал он, предоставив мухам пировать его рисом (рыба упала на пол), – жертвой или преступником? Он верил в дело, за которое воевал, а потом его без предупреждения бросили в тюремный ад за преступления против Организации, о которых он ничего не знал, но все равно признался. Из него выбивали признание в предательстве, в том, что он скользкая гадюка, вероломно строившая козни, один из ксае кбот, бесконечной «цепочки предателей», в которой его имя стояло в ряду сотен – да что там, тысяч – других. «Либо ты подпишешь, – деловито заявил следователь, который вел допрос, – либо будешь валяться на этом кафельном полу, пожирая свой хвост, как змея, которая ты и есть, пока не останется одна голова – и предательские мысли, которые ты там прячешь! – От ударов обернутой войлоком дубинки по виску в голове звенело и мутилось, кровь шла из ушей и давила на глаза. – Ну, что выбираешь? Жить или умереть?» Снова и снова он выбирал жить, глупо веря, что его жизнь по-прежнему чего-то стоит, что у него все еще есть жизнь. Теперь, по прошествии многих лет, стоя лицом к лицу со своими преступлениями, он понял, что все, что у него оставалось, – совесть, единственный источник истины, стоивший принесенной им жертвы. Но он предал и ее…

Старый Музыкант стер с газеты жир и остатки еды, аккуратно сложил ее и опустил в карман. Он ясно понимал, что нужно делать. Он покинул тихую деревушку и пошел в Пномпень. Если там уже начал работу трибунал, он готов сдаться, быть среди первых, которые выйдут вперед, чтобы принять заслуженное презрение своего народа и всего мира. Не потому, что он хотел подать другим моральный пример, а потому что верил – первая волна гнева будет беспощадной, безжалостной. Их увидят в подлинном чудовищном обличье. Их обвинят в геноциде, в преступлениях против человечества и сгноят в тюрьме.

Тут он будто споткнулся: в тюрьме? Но после Слэк Даека любая тюрьма покажется фарсом, травести не только правосудия, но и наказания. Какие изуверские пытки, неизвестные мрачным застенкам Слэк Даека, для него придумают? Ему достаточно одной мысли, чтобы вспомнить каждую испытанную боль во всей силе и реальности, будто где-то в коже, среди сложных регенеративных клеточных структур, скрыт контур садистских забав его палачей, изгибаясь и хлеща, как кнут, оставляя новые рубцы поверх старых. Тюрьма, пожизненная или нет, будет слишком легким приговором по сравнению с тем, что он уже изведал в Слэк Даеке, ничтожным воздаянием за безмерные преступления. Может, тогда смертная казнь? Жизнь за жизнь? Но разве его теперешнее жалкое существование в состоянии компенсировать жизни, которые он отнял и – этих куда больше – сломал или разрушил? Смерть была бы даже легче. Но сам факт, что он выжил в Слэк Даеке, означал, что смерть отвергла его, выплюнула, не найдя на своем огромном складе ниши или угла для такого негодяя, словно своей пунктуальности она удостаивает лишь тех, кто понимает ценность жизни. Похоже, справедливости ради Старому Музыканту придется самому назначить себе наказание. Тем лучше, решил он. Время шло, а трибунал все не учреждали. Один за другим ушли на тот свет Пол Пот и другие наиболее одиозные партийные руководители. Остальные, как и Старый Музыкант, быстро дряхлели и вскоре по слабости здоровья уже не смогут предстать перед судом. Когда стало ясно, что трибунала не будет еще много лет, оставалось только одно место, куда он мог пойти.

Однажды утром он сидел на углу у стен Ват Нагары, храма на берегу Меконга – когда-то Сохон молодым послушником погружался здесь в медитацию, это было любимое место его детства. На рассвете монахи, возвращавшиеся со сбора милостыни, заметили Старого Музыканта, игравшего на садиве, и из жалости к изуродованному бездомному старику поделились с ним пищей, поданной доброхотами. Вечером, с разрешения настоятеля, монахи пригласили его переночевать на территории храма, подальше от уличного смрада, грязи и

опасностей. Ему предложили занять деревянную хижину, принадлежавшую недавно скончавшемуся храмовому уборщику.

– Живите, сколько захочется, – сказал ему настоятель. – Нам бы пригодился музыкант.

И он остался, накормленный и одетый догматом ежедневной щедрости, под защитой общей веры, что храм – это место, где человек ищет очищения и прощения, где умиротворение можно обрести путем молчаливых размышлений.

– Кого из нас не коснулась трагедия? – спросил настоятель, угадав тяжесть его скорби. – Кто из нас не несет бремя выжившего? – Другие монахи откликнулись согласным эхом. – Каковы бы ни были ваши проступки, вы уже расплатились за них своими увечьями.

Знай монахи о его прошлом, они бы поняли, что полуслепота и изуродованное лицо и руки – не только свидетельство его «проступков», но и физическое досье преступлений, в которых он не сознался.

– Пришло время заслужить лучшую карму, – уговаривали монахи, предлагая ему присоединиться к сангхе, своей духовной коммуне ритуального размышления. – Отпустите мирские заботы, и вы найдете покой, которого жаждете.

Он отказался. Он пришел в храм не скрываться от возмездия. Он явился на порог прощения, прекрасно зная, что его никогда не простят, потому что он не заслуживает милосердия и доброты, и единственное спасение заключено в осознании собственной порочности и чудовищности. Это и будет ему достойным наказанием – провести остаток дней в самобичевании и отвращении к себе.

Так он думал.

Субтильная малайзийка-стюардесса в синем шелковом платье с цветами – кабейе, вспомнила Тира из буклета авиакомпании, с усилием толкала перед собой тяжелую металлическую тележку. Поравнявшись с Тирой, она спросила сидевшую рядом пожилую пару, что им предложить. Старики не поняли. Тира не удивилась, что они не говорят по-английски, хотя у них американские паспорта:

как многие пожилые камбоджийцы, супруги, наверное, ни разу не покидали своей общины, за исключением этого перелета в Камбоджу. Стюардесса повторила чуть погромче, будто старики были туги на ухо:

– Говядина с жареным рисом или омлет с грибами? Азиатский завтрак или западный? – добавила она для ясности. Старики все равно не понимали.

– Дайте им две порции жареного риса, – вмешалась Тира, зная, что камбоджийцы непременно предпочтут рис. Это у них в крови. Когда-то они рискнули бы жизнью, чтобы украсть горсточку риса. «Риса, мамочка, риса», – последние слова ее брата. Он родился через несколько месяцев после прихода к власти красных кхмеров. Когда апрельским утром 1975 года они покинули дом, присоединившись к вынужденному массовому исходу жителей Пномпеня, Тира и не знала, что мама беременна. «Рин голодный! Живот болит!» «Голод» был одним из первых слов ее братика, одним из первых усвоенных им понятий. Он умер, еще не научившись толком говорить… Часто заморгав, Тира прогнала воспоминание.

– А вам, мэм? – спросила стюардесса, глядя на нее.

– Кофе, пожалуйста, – попросила Тира.

В первые годы после приезда в Америку они с Амарой избегали вспоминать пережитое. Когда их спрашивали, действительно ли режим красных кхмеров был так ужасен, как рассказывают, Амара всякий раз коротко отвечала: «Да». Молчание Амары укрепляло ее собственное, возводило еще более толстую и высокую стену, пока не начало казаться, что они с Амарой существуют в разных камерах, узницы того, о чем нельзя рассказать.

– А кушать будете? – спросила стюардесса.

Тира покачала головой. Следовало ответить, что она не голодна, но поиск слов для выражения мыслей требовал слишком много сил. Кроме того, в сумке есть крекеры, можно подкрепиться ими, если понадобится. Девушка не ощущала голода, не чувствовала желания есть с той минуты, как поднялась на борт самолета в Миннеаполисе более двадцати часов назад – да что там, с самой смерти Амары, если задуматься.

– Нет, спасибо, только кофе.

Тира сделала большой глоток тепловатой разбавленной жидкости. Легкая горечь скользнула вниз по горлу. Сидевшая рядом старуха оробела при виде множества упаковок на своем подносе, не зная, за которую приняться. По подсказке мужа она стянула с прямоугольного лотка фольгу и обнюхала жареный рис. Густой запах разогретого жира заполнил все вокруг. Тиру замутило, и она попыталась не дышать. Старуха начала подцеплять вилкой жирную волокнистую говядину и перекладывать на тарелку мужу. Повернувшись к Тире, она пояснила на кхмерском:

– Зубов-то не осталось.

Она чмокнула голыми деснами и улыбнулась. Тира невольно улыбнулась в ответ, и настороженность начала ее отпускать.

– Ты впервые возвращаешься, чао срей?

Сердце замерло. У камбоджийцев в обычае обращаться друг к другу «брат», «сестра», «дядя», «бабушка», но Тира уже забыла, когда ее последний раз называли внучкой с такой нежностью. Воспоминание о пещере, где они оставили деда и бабушку, не тускнело в памяти. Вход подсвечивало заходящее солнце, и от этого казалось, что пещера светится изнутри. Тира справилась с комком в горле, в бессчетный раз думая, как они умерли и кто скончался первым – нежная миниатюрная бабушка или мужественный, когда-то представительной внешности дед? Они голодали уже давно и сильно ослабели – ущерб, нанесенный их телам, был невосполним, и Амаре и Тире пришлось оставить их в пещере, чтобы не отстать от остальных, решившихся на переход через джунгли. Наверное, дедушка с бабушкой не дожили до утра. Они вынесли четыре долгих страшных года нового режима, но в самом конце жизнь предала их, уступив смерти в богом забытой глуши.

Тира отпила еще кофе, чтобы смягчить комок в горле, и неуверенно кивнула. Она уже пожалела, что ответила на беззубую улыбку соседки.

– Мы тоже, – сказала старуха. – Мы свое пожили, времени у нас мало, сама видишь. Скоро мы будем совсем старыми и больными для перелетов.

Тира вздрогнула, вспомнив слова онколога:

– Боюсь, на такой запущенной стадии прогноз неблагоприятный.

Говоря это, врач смотрел то на нее, то на Амару, видимо, не зная, кто за кого отвечает. Когда они с Амарой первый раз пришли на прием, он решил, что они сестры: хрупкой Амаре можно было дать максимум тридцать с небольшим, а не сорок пять.

– Мне очень жаль, – закончил он решительно через, казалось, несколько мгновений.

«Что ты можешь знать!» – захотелось закричать Тире в ответ на бесполезные извинения, на абсурдность ситуации. Вынести неописуемые лишения и пасть жертвой чего-то столь конкретного, как рак поджелудочной железы? Это казалось злой насмешкой судьбы над их многолетними усилиями заново построить жизнь. Они с Амарой верили, что после перенесенных испытаний выдержат все что угодно, что они остались в живых для какой-то высшей миссии. Сама судьба сулила им выжить, хотелось ей крикнуть доктору-снобу. Амара сильнее любой болезни, она выживет, будет бороться и победит, вот увидите! Но вместо этого Тира отрывисто, почти угрожающе проговорила:

– Мы проконсультируемся у другого специалиста. – И добавила дрогнувшим голосом, в котором зазвенело отчаяние: – И у третьего, и у четвертого, если понадобится!

Амара смотрела на нее с жалостью, будто это у Тиры был рак. Они вышли из кабинета врача в тяжелом молчании. Только когда они дошли до дома, Амара заговорила:

– Будь у меня побольше времени, я бы вернулась в Камбоджу.

Тетка тщательно подбирала слова, говоря на своем прекрасном, отточенном английском, но Тире показалось, что Амара ошиблась с временем глагола. Неужели Амара ничего не помнит о прошедшем времени сослагательного наклонения, ведь Тира столько помогала ей с грамматикой? «Ты же еще не умерла – хотела она возразить, – время еще есть, у тебя полно времени!» Но она отчего-то разрыдалась, и Амара принялась ее утешать:

– Тира, нам же очень повезло! Я прожила хорошую жизнь. Я видела, как ты выросла. Я всегда буду благодарна судьбе за эту отсрочку, за все, что мы вместе создали.

Тетка говорила так, будто она должна была умереть в камбоджийских джунглях, с остальными. От этого Тира расстроилась еще больше.

В последующие дни и недели Амара с присущей ей невозмутимостью приводила дела в порядок. Она уволилась со своей должности – много лет она возглавляла в Миннесоте организацию, занимавшуюся социальной помощью иммигрантам-камбоджийцам и беженцам. Она сходила к адвокату и составила завещание, позаботившись, чтобы Тира, ее единственная родственница, получила все ее сбережения и имущество. Считая страховой полис, который Амара предусмотрительно купила себе много лет назад, получалось целое небольшое состояние.

– Здесь уж точно хватит, чтобы ты занялась писательством, – деловито объяснила Амара удрученной и растерянной племяннице. – Ты должна подумать о себе, дорогая, заботиться обо всем, что живо в тебе, а мне позволь позаботиться о том, что умерло.

Отдельно Амара завещала некоторую сумму на постройку общей ступы[1 - Здесь – мемориальное сооружение в форме полусферы (прим. переводчика).] в Ват Нагаре, их старом семейном храме. Она сказала Тире, что уже написала настоятелю, выразив пожелание, чтобы ступа служила чем-то вроде семейного склепа, в том числе для погибших при красных кхмерах. Прошло несколько недель, месяц, другой. Болезнь уже сказывалась на внешности тетки – стремительное ухудшение превратило ее в бледное подобие прежней Амары. Однажды, усадив Тиру и протянув ей деревянную шкатулку, тетка сказала:

– Если ты когда-нибудь вернешься на родину, отвези туда часть моего праха и оставь в нашей ступе.

Тира была потрясена этими спокойными наставлениями. «Ты же еще жива!» – чуть не закричала она, слишком обескураженная и расстроенная, чтобы разобраться в своих мыслях, не говоря уже о словах Амары. Делить прах?! Тира не сомневалась, что это святотатство и грубое нарушение буддистских обычаев, хотя прекрасно понимала, что тетке с самого прилета в Америку приходилось

жить в раздвоенности, заставляя себя смириться и строить другую жизнь в стране, так и не ставшей ей родной.

«Если ты когда-нибудь вернешься…» Эти слова вывели Тиру из равновесия, показавшись предательством. С какой стати ей возвращаться? Зачем ей это? В Камбодже не осталось ни единого человека, которого она могла бы навестить или возобновить родственные связи. Разве что Амара намекала – она хочет, чтобы Тира вернулась к истокам и воссоединилась с семьей, хотя бы духовно. Тира не осмелилась возражать умирающей.

Всякий раз думая о своем наследстве, Тира не могла избавиться от ощущения, что ей всегда доставалась участь полегче, а тетка принимала на себя основной удар, страдания и смерть. Может, поэтому Тира сейчас и летит в Камбоджу – очиститься от чувства вины, утолив невысказанную тоску Амары по дому?

Амара умерла в начале года, не дожив трех дней до своего сорок седьмого дня рождения. Ее смерть вызвала настоящий шок среди камбоджийской диаспоры: огромное горе и всеобщий траур подобали скорее какой-нибудь звезде средней величины. Удивляться было нечему – много лет Амара была постоянной составляющей в жизни очень многих. Не было дня рождения, окончания школы или колледжа, свадьбы или похорон, куда бы ее не пригласили; Амара приходила и предлагала свою тихую поддержку. Поэтому, когда разлетелась новость о ее смерти, целая толпа пришла отдать последний долг. Владелец похоронного бюро в Миннеаполисе, знакомый с камбоджийскими традициями, поставил на помосте ряд стульев для буддистских монахов, лицом к скорбящим. Затем все пошли в крематорий за несколько кварталов, где тело Амары было кремировано, а пепел собран в урну с ловкостью и деловитостью, как, внутренне холодея, заметила Тира, умелых пекарей в булочной. На следующий день все еще раз собрались в Ват Миннесотараме, храме в сельском Хамптоне, где и состоялся вечерний погребальный обряд. Урна была выставлена на маленьком столике рядом с фотографией Амары, а погребальные песнопения и звучавшая музыка должны были облегчить душе тетки переход в загробный мир.

В конце июня, чуть более полугода спустя, когда Тира почувствовала, что все понемногу привыкли к отсутствию Амары и можно уже скорбеть по утрате глубоко в душе, пришло письмо из Камбоджи. Автор письма выражал соболезнования, узнав об уходе Амары от настоятеля Ват Нагары, где ему дали приют. К изумлению Тиры, незнакомец, выразивший глубокое сочувствие по поводу ее невосполнимой потери, писал на самом деле о каких-то музыкальных

инструментах, некогда принадлежавших ее отцу. Автор желал передать их Тире. Сперва девушка растерялась: все это походило на завуалированную просьбу о деньгах от какого-то мошенника. Она хотела выбросить письмо, но что-то ее удержало – наверное, тон письма. «Тон – это истинный смысл письма», – говорила Амара, когда, поддавшись непрошеным воспоминаниям, повторяла слова своего отца, казавшиеся ей таинственными или пророческими. Тон письма заставил Тиру поверить, что намерения незнакомца чисты и искренни.

Он писал о трех инструментах, не уточняя, каких именно. Оставалось дивиться иронии судьбы: дома, памятники старины, целые города стерты в щебенку, а инструменты, хрупкие и незатейливые, уцелели. Как они попали к этому человеку? Если они и впрямь когда-то принадлежали ее отцу, что теперь с ними делать? Какую службу они могут сослужить, коль скоро Тире уже не услышать музыки отца? Девушка честно пыталась потерять письмо, кидая его в разные выдвижные ящики, засовывая под стопки почты или бросая не глядя в одну из подвесных папок на письменном столе, но всякий раз письмо снова подворачивалось под руку, и Тира перечитывала слова, шепот и намеки.

Этот человек знал ее отца. Они, говорилось в письме, вместе были в тюрьме накануне падения режима красных кхмеров, и ее отец продержался почти до конца. Но как? Каким образом? Он хоть пытался отыскать родных три предыдущих года? Какое преступление он совершил? А главное, почему этот человек, утверждающий, что знал отца, написал ей только сейчас? Кто он? Что ему нужно? Как ни старалась Тира, ей не удавалось уйти от властного зова прошлого.

Истина, считала она, заключена как в написанном, так и в невысказанном, так же, как мелодия не только последовательность звуков, но и интервалы, паузы между нот. «Слушая музыку, учитесь слышать и атмосферу эха». Тира не могла с уверенностью сказать, сама ли она вспомнила эти слова или же, как и многое другое, рассказы Амары слились с ее воспоминаниями о раннем детстве, когда она ходила с отцом в университеты и концертные залы, где он читал лекции. В любом случае, фраза, ожившая спустя столько лет, воскресила в памяти и ту пещеру, где они с Амарой оставили умирать деда и бабушку двадцать четыре года назад, в 1979-м. Пещеру, в разверзнутом зеве которой затрудненное дыхание стариков слышалось громче, с подчеркнутыми паузами между вздохами.

Тира гадала, сможет ли автор письма объяснить, что отец имел в виду, говоря «атмосфера эха». Это как в пещере, где жизнь медленно вытекает из тела, впитываясь в неподвижность, вроде гаснущего от недостатка кислорода пламени? Или это как в гулком массовом захоронении, где даже тишина обладает содержанием, неся в себе укор мертвых, их горький упрек, как это живые не уважили их ответом, почему они умерли, как такое зверское злодеяние могло случиться и почему это продолжает происходить?

Наконец Тира положила письмо в кедровую шкатулку, где хранила памятные вещи Амары, а вскоре, к всеобщему изумлению, уволилась из центра искусств камбоджийской общины. Друзья и коллеги расценили ее внезапный отъезд как своеобразное отрицание, невозможность справиться с горем или, как сказали некоторые, должным образом поскорбеть по тетке. Но Тира слишком хорошо знала, что горе – нежданный, неурочный гость, к приходу которого невозможно быть готовым, и если на то пошло, ее неожиданное увольнение скорее оставило открытой дверь для горя, позволяя Тире выйти за ее пределы.

И вот она на борту самолета, барахтается в потоке мыслей и чувств, несущем ее не в будущее, а в прошлое. Ее снова охватили воспоминания о другом стремительном бегстве, о смертельно опасном переходе через джунгли и минные поля, когда каждый раз, когда все бросались бежать вперед, Тира оглядывалась, не в силах избавиться от странного ощущения, что кто-то или что-то догоняет ее, окликая по имени. Она еще не знала, что привычка постоянно оглядываться определит ее жизнь, неразрывную связь с родиной и ее призраками. Ей никогда не освободиться от них, однако сейчас Тира пыталась оторваться, убежать, скрыться от несмолкающего зова: «Сутира… Сутира…»

Воспоминания росли, завладевая мыслями, вставая перед глазами. Тира задохнулась от сознания, куда она летит и зачем. Разумеется, она позаботится о том, чтобы пепел Амары был помещен в мемориальную ступу, которая уже готова, как заверил настоятель Ват Нагары, и заберет инструменты отца. Но, хотя девушка не признавалась в этом вслух, главной, а возможно, и единственной причиной возвращения был ее отец. Только он удерживает в прошлом. Наконец она узнает, что с ним сталось. За почти четыре года правления красных кхмеров, когда одна смерть следовала за другой, исчезновение отца так и не обрело пронзительной боли безвозвратной утраты: он до сих пор мерещился ей повсюду. Даже сейчас, несколько десятилетий спустя, его призрак не дает ей покоя. Тира не могла избавиться от мысли, что отец исчез не по своей воле.

Он слышал ее имя в каждом звуке колокола, призывавшего к медитации. Впервые услышав этот звон, Старый Музыкант принял его за фантомное эхо, вроде тихой вибрации в музыкальном пассаже: несколько повторяющихся нот среди какофонии его безумия.

Это случилось в прошлом году в мае, во время Вишакхи Пуджи, праздника, посвященного трем главным событиям жизни Будды – рождению, просветлению и нирване: настоятель объявил братии, что некая мисс Сутира Аунг, камбоджийка, живущая в Америке, прислала внушительное пожертвование для сооружения большой ступы в память своей тети. Сутира Аунг. Лишь через несколько секунд Старый Музыкант узнал фамилию, которую настоятель произнес после имени, – должно быть, так принято в США.

– Наша благодетельница просит о сооружении общей ступы, – продолжал настоятель, – чтобы те, кто не может позволить себе семейный склеп, могли хранить в ней останки своих близких, погибших в годы правления Пол Пота. Останками, как указала мисс Сутира Аунг, может быть пепел эксгумированных черепов и костей, старые фотографии, фрагменты одежды, воспоминания об умерших, наши молитвы и пожелания ушедшим – в общем, всем, чем угодно…

От слов настоятеля Старого Музыканта точно омыла волна спокойствия. Сутира жива. В нем боролись недоверие и необъяснимая уверенность, что он это знал с самого начала. Как можно быть уверенным в таком, он не смог бы объяснить. Он лишь чувствовал, что ждал этого мгновения. Теперь все станет на свои места; длинный, извилистый путь, по которому он блуждал не одно десятилетие, вдруг выпрямился, указав Старому Музыканту единственное оставшееся направление.

Он ждал, как приговоренный к казни, которому дали время вспомнить все грехи и подготовиться к смерти. Он хотел все распланировать, подробно представить момент окончательной расплаты и, как часто приходилось делать в Слэк Даеке, пик мучительной боли, чтобы потом вынести ее, не утратив мужества.

В конце концов, напомнил он себе, он сам этого хотел. Через несколько дней после Вишакхи Пуджи он пошел к настоятелю и сказал правду – то немногое, что смог открыть, пересилив себя, – что когда-то он знал отца Сутиры и выбрал Ват Нагару, зная, что, если кто-то из семьи уцелел, рано или поздно они придут сюда. На случай возможных сомнений он особо подчеркнул, что не намерен

извлекать какую-то выгоду из этого знакомства и не хочет ни жалости, ни компенсации, тем более от молодой женщины. Он желал только вернуть инструменты – единственную память об отце, которого она потеряла. Возможно, мисс Сутира захочет поместить их в общую ступу как единственные доступные останки отца. В любом случае инструменты принадлежат ей и она вправе поступить с ними так, как сочтет нужным.

Настоятель, которого тронул рассказ этого жестоко изломанного жизнью человека, столько лет хранившего у себя единственное имущество покойного друга в надежде передать инструменты его семье, дал ему американский адрес и сказал, что Старый Музыкант может сам написать мисс Сутире Аунг. Затем настоятель добавил нечто неожиданное: оказывается, средства на сооружение общей ступы завещала тетка мисс Сутиры, давняя благодетельница храма, смерть которой наступила несколько месяцев назад, в начале года.

– Мы знали, что ее тетя больна, – сказал настоятель, – но не ожидали, что она так скоро покинет этот мир. Ее смерть стала для нас тяжелым ударом. Возможно, – добавил старый монах, – мисс Сутира не захочет сейчас слышать о призраке своего отца. Она недавно похоронила единственного близкого человека, а тут на свет божий вытаскивают другого покойника… Вы ведь поймете, если она не ответит на письмо?

Старый Музыкант только кивнул в ответ. Все эти годы она была не одна! Он не знал, выжили ли в годы режима только Сутира и ее тетка, но предположил, что так и есть, потому что больше настоятель никого не упомянул – например, мать Сутиры, Чаннару. Спросить он не осмелился – сердце зашлось от одного только имени.

И вновь, когда ожили его воспоминания, прозвонил колокол. Июнь подходил к концу, когда Старый Музыкант наконец решился написать. Сейчас уже сентябрь, а он не получил в ответ ни слова. Он убеждал себя, что это лишь вопрос времени, когда он встретится с ней, взглянет ей в лицо и во всем признается. И только увидев себя ее глазами, он узнает боль сильнее, чем пытки Слэк Даека. Сутира станет его карой, ее отвращение и ненависть – его последней долгой мукой.

Старый Музыкант повернул лицо от темного угла хижины к квадрату серого света, сочившегося через джутовый полог, закрывавший вход. Даже с закрытыми глазами он всегда чувствовал свет, его источник и характер, и кожей

угадывал его намерение – хочет ли свет утешить или причинить боль, согреть или обжечь.

В Слэк Даеке, ослепленного плотной черной повязкой, его часто забирали из камеры посреди ночи и, толкая в спину, вели через прямоугольник бетонного двора в допросную. Хотя он ничего не видел, но всякий раз чувствовал момент перехода от естественного ночного света звезд и луны под слепящий белый блеск флуоресцентных ламп в камере палачей.

Колокол прозвонил снова, призывая на молитву. Монахи затянули утреннюю сутру. В заунывном пении о бренности всего сущего Старый Музыкант всякий раз улавливал аллюзию несчастья и боли:

– Круговорот, в которым мы обречены вращаться… в нашем вечном невежестве и распрях…

Вскоре, взяв в руки деревянные миски, они покинут храм и босиком побредут по городским улицам, останавливаясь перед каждым домом или магазином, чтобы получить первое даяние от каждой семьи – вареный рис с овощами. Милостыню они принесут обратно в храм и разделят с ним и другими, кто нашел здесь приют.

– Мы цепляемся за жизнь и питаем желания… – голоса монахов казались густыми и вязкими, как бальзам. – Мы привязываемся к смертной юдоли с ее невзгодами и иллюзиями и от этого не можем избегнуть колеса сансары, бесконечного повторения…

Однако Старый Музыкант считал жизнь невыносимо доброй к нему. После всего, что он разрушил и попрал, солнце все равно восходит и дарит ему тепло и краски, дождь наполняет его глиняную чашу для воды, и монахи, которые нараспев твердят, что жизнь – неизбывный круг скорбей, все равно считают возможным давать ему пищу и кров, чтобы облегчить его страданья. Как вышло, что он, без всякого уважения относившийся к святости человеческой жизни, прожил так долго? Почему ему брошена милостыня старости? Старый Музыкант поднялся с бамбуковой кровати, вытянув руку перед собой, отодвинул джутовый полог и шагнул в утро. Глаза он открыл, и хотя они едва различали ряды монахов, распевавших сутру в молитвенном зале – восходящее солнце подсвечивало их шафрановые облачения, – гармонический речитатив приносил

утешение и давал силы прожить новый день.

Ветер прошелестел в ветвях, стряхивая остатки ночного дождя. Старый Музыкант слышал, как капли гулко падают в бамбуковый желоб на крыше – почти пентатоновой гаммой. Или это она, его дочь, говорящая теперь голосом садива, окликает отца?

Что хочет сказать ей автор письма, чего нельзя или не хочется доверять бумаге? Наверняка в истории его знакомства с отцом были не только эти инструменты. Автор не назвался – письмо было любопытно подписано: «Локта Пленг из Ват Нагары» – Старый Музыкант из храма Нагара, выведено внизу страницы нетвердыми, почти неразберимыми каракулями, контрастировавшими с аккуратными четкими строками, словно автор состарился и одряхлел в процессе сочинения.

– Да, мы летим домой, – повторяли сидевшие рядом с Тирой старики-супруги, крепко держась за руки. Домой. Они с удовольствием произносили это слово, смакуя каждый слог, будто пальмовый сахар, вкус которого помнили с детства. Амара в свои последние дни была не столь категорична насчет того, где ей хотелось бы упокоиться.

– Пусть кремация состоится здесь, – говорила она в минуту ясного сознания между инъекциями морфина. – В Миннесоте снег все покрывает, стирает все следы… Здесь времена года прощают наши ошибки… – И тут же восклицала в тоске: – Отвези меня обратно, Тира, я хочу лежать с остальными! Дай мне умереть в Срок Кхмер!

Это, конечно, было невозможно – Амара скончалась через три месяца после постановки диагноза. Тира едва успела найти похоронное бюро – что уж говорить о возвращении в Камбоджу.

В Ват Миннесотарам, где Тира оставила часть праха в погребальной урне, тетка теперь может перемещаться между двумя мирами. Она представила призрак Амары в молитвенном зале, спокойной и собранной в смерти, какой тетка была при жизни, не принимая и не отрицая свою кончину, но подмечая острым глазом географическую иронию – в чужом краю снежных зим и кукурузных полей их тропическая мечта выросла из скромного фермерского коттеджа и расцвела в

блестящую реальность – храм с золотыми шпилями и резными колоннами, которому не угрожают ни войны, ни революции.

Тира откинула голову и закрыла глаза. Не надо было ей садиться в этот самолет! Но теперь уже не передумать…

Слэк Даек, писал в своем послании Старый Музыкант. Сколько же они с отцом провели в этой огромной камере пыток? Каковы были их преступления? Что они совершили – или в чем их обвиняли? Тира достаточно много читала, чтобы знать, что из тысяч массовых захоронений по всей Камбодже основная часть найдена в непосредственной близости от тайных тюрем, устроенных красными кхмерами. В одной провинции Кампонгтхом, где, как пишет Старый Музыкант, находился Слэк Даек, раскопали около двадцати групповых могил с останками свыше ста двадцати тысяч человек. В Кампонгтяме, где осела семья Тиры после вынужденного бегства из Пномпеня, найдено шестьдесят одно массовое захоронение, а число останков в них приближается к ста восьмидесяти тысячам.

Одержимая желанием понять, Тира читала все, что удавалось достать, в том числе последние новости, и всякий раз, когда ей попадалась фотография останков погибших, она гадала, нет ли среди этих костей и черепов кого-то из ее родственников. Она пристально рассматривала треснувший купол черепа, заглядывала в пустые глазницы со смутным недовольством, что свидетелями стали мертвые, а не те, кто выжил. Мертвые глядят в упор сквозь время и видят вновь и вновь совершаемое насилие. Их предупреждение осталось неуслышанным. Незамеченным.

Напряжение скопилось в точке между бровями – Тира надавила на переносицу. Когда она открыла глаза, низкий потолок наклонился влево, затем вправо. В голове билась мысль: сильно ли мучился отец? Как он умер? Ему выстрелили в затылок, дали побежать или связали по рукам и ногам? Заключенных умерщвляли разными способами, эффективными и рациональными. Думал ли перед смертью отец о своей семье, о ней, Тире, или последнее, что он запомнил, было лицо палача?

Она не знала, почему терзается этими бесполезными вопросами, походившими на дырки в побитом молью коврике: заглядывая в них, Тира видела лишь еще большую пустоту.

Кто-то тронул ее локоть. Открыв глаза, она увидела лицо улыбающейся стюардессы, попросившей привести спинку сиденья в вертикальное положение. Самолет начал снижение, они прибывают в международный аэропорт Пномпеня. Вокруг пассажиры оживленно переговаривались в ожидании приземления. Тира спохватилась, что у нее по щекам стекают струйки пота, и вытерла лицо тыльной стороной руки, отвернувшись к окну.

Внизу показалась густо-оранжевая земля со стройными сахарными пальмами и хижинами под соломенными крышами, заброшенная и точно покрытая рубцами. Отчего-то – может, из-за попадавшейся ей раньше рекламы Ангкорского комплекса – Тира ожидала увидеть больше зелени, какой-нибудь роскошный тропический пейзаж с кокосовыми пальмами, тиковые заросли, изумрудно-зеленые орошаемые рисовые поля, озера и пруды, заросшие лотосами и кувшинками, реки, точно искусной вышивкой, покрытые крылатыми сампанами и выдолбленными из пальмовых стволов челнами с носами в виде птичьих клювов. Но то, что открывалось с самолета, напоминало поле битвы, испещренное темными ямами с водой и странными рытвинами, напоминавшими воронки от снарядов. Изломанная география. Что она может рассказать Тире? Что кроется за этими клочками серого и коричневого? Какие еще неизвестные Тире тайны готова открыть эта израненная земля? Таит ли она в своих трещинах предсмертный вопль ее отца, его поверженные в прах идеалы и разбитые мечты, свидетельства якобы совершенных им преступлений, возможность искупления – для него и для нее, Тиры?

Самолет накренился влево и пошел на снижение. Город внизу становился четче с каждой минутой.

– И это Пномпень? – спросил кто-то с явным разочарованием. – А выглядит как не пойми что!

Город то появлялся, то скрывался из виду в прямоугольной раме маленького окна. Он совершенно не походил на столицу и даже с высоты птичьего полета напоминал маленький сельский городок. Тира вглядывалась в городскую топографию, ища златоверхие храмы и красные черепичные крыши, как в «Нэшнл джиографик» шестидесятых годов, выпуски которого она в университете прилежно изучала, ища сведения об истории своей страны, фрагменты своего дома, семьи. Но сейчас она различала лишь архитектурную несклепицу: промежутки среди уцелевших довоенных зданий точно запломбированы новыми серыми «коробками».

Самолет накренился вправо, и Тира успела заметить блеск покрытой золотом крыши поодаль, у реки. Может, это королевский дворец? Тогда река – Тонлесап? Образы старого Пномпеня теснились в памяти: ярусы монумента Независимости, поднимавшиеся над круглым основанием подобно лиловому пламени гигантской свечи, Ват Пном, сверкающий под полуденным солнцем, территория дворца, усеянная блестящими павильонами и резными беседками, напоминавшими, как казалось Тире в детстве, небесный град, и Тонлесап, полноводная от муссонных ливней. Самолет круто пошел вниз и с легким толчком коснулся земли. Сердце Тиры замерло. Старуха рядом с ней всхлипнула.

– Вот мы и дома, – сказала она мужу, беря его за руку. Старик положил сверху свою ладонь, еле сдерживая слезы – у него дрожал подбородок. Тира с силой прижалась лбом к стеклу, чувствуя свою беспомощность в присутствии столь откровенного проявления чувств. За много лет она выучилась заглушать эмоции звуками чужого языка; даже ее имя сократилось в более привычную для американского уха форму – Тира вместо Сутиры. Она американка, Камбоджа ей уже не дом.

Самолет плавно катился по рулежке, однако сердце Тиры готово было выскочить из груди. Стараясь успокоиться, девушка крепче обняла спортивную сумку, где лежало все самое ценное – паспорт, немного наличных, пара кредиток, деревянная шкатулка с пеплом Амары и письмо Старого Музыканта.

«Дорогая юная леди, не знаю, как начать…» Тира столько раз перечитывала эти строки, что запомнила слово в слово. «Мне столько нужно вам сказать…» Пространство между строк недлинного послания резонировало невыразимой печалью – пустые параллельные линии скорби. «Я знал вашего отца». Тира представила, как ручка замерла над бумагой, пока автор обдумывал следующее предложение, лихорадочно перебирая в голове все, что хотел ей сказать. «Мы с ним были…» Фраза зачеркнута решительной прямой линией, будто ошибка непоправима и не заслуживает снисхождения. Тиру тронула честность этой детали. «В последний год перед падением режима Пол Пота мы вместе были в Кампонгтхоме, в «школе» Слэк Даек. В тюрьме. Как я выжил там, я не знаю. Почему я вообще выжил? Этот вопрос и сейчас не дает мне покоя…» Самолет замедлил ход, поравнявшись с терминалом, и в больших стеклах появилось изогнутое отражение корпуса лайнера. «Увы, я старик и вскоре встречусь со своей смертью…» Тира почувствовала, как заглушили мотор и самолет приготовился к полной остановке. «Я не знаю, сколько у меня осталось времени и осталось ли вообще… У меня хранятся три музыкальных инструмента,

принадлежавших вашему отцу. Он хотел бы, чтобы они достались вам. Он бы обрадовался, что часть его по-прежнему жива, пусть хоть в этих инструментах». Мысленно Тира услышала звуки отцовского садива. Отчего-то из всех инструментов, на которых он играл, ярче всего запомнился звук этой старинной лютни. Может, потому, что все детство она слушала, как отец пытался овладеть искусством игры на садиве? Тира помнила песню – не название, а мелодию, каждая нота как падение капли предрассветного дождя на выдолбленный бамбук. Девушка закрыла глаза, и мелодия омыла ее изнутри.

Кто-то постучался у входа в хижину. Старый Музыкант открыл глаза. В дверном проеме стоял почтенный Конг Оул, закрываясь от мелкого мягкого дождика маленьким черным зонтом.

– Простите, что явился незваным, – извинился настоятель. Голос старого монаха был неожиданно глубоким и властным для человека такого тщедушного телосложения. – Я пришел просить вас участвовать в церемонии. Пришла молодая пара, супруги Раттанак, вы их знаете. У них болен сын, просят провести для него обряд благословения.

Старый Музыкант помнил Раттанаков и их сынишку.

– А что с Макарой, почтенный настоятель?

– Лоух пралунг. Родители считают, что призраки выманили пралунг их сына из тела в лес, и хотят с помощью подношений – пищи и музыки – призвать заблудшую душу обратно в тело. Я хотел спросить, не сыграете ли вы на садиве?

– Конечно, почтенный.

Настоятель нахмурился:

– Я говорил с доктором Нарунном. Он считает, что у мальчишки наркозависимость, и рекомендует отправить его в хороший реабилитационный центр, желательно международный. Я передал его мнение родителям. Они подозревают, что сын действительно употреблял «сумасшедшие лекарства», как они называют наркотики, но считают, что истинный корень проблемы – в

заблудившейся душе. – Немного оживившись, настоятель добавил: – Мы назначили церемонию через десять дней, как раз на день рождения Макары. Благоприятный момент для церемонии перерождения, вы не находите?

– Да, настоятель.

Конг Оул перевел взгляд на дальний угол бамбуковой койки, где поверх гобоя и барабана лежал садив, точно инструменты о чем-то неслышно перешептывались.

– Вам следует знать, что я уведомил мисс Сутиру – общая ступа готова. Я отправил письмо уже некоторое время назад, но ответа до сих пор не получил. – Настоятель поколебался. – Возможно, ее дух тоже заблудился – унесся слишком далеко и не слышит вашу просьбу. Если это вас утешит, старина, я считаю, эти инструменты вверены именно вашему попечению с целью помочь преодолеть новое ниспосланное испытание.

– Вы очень добры и мудры, настоятель. Положусь на вашу прозорливость.

Конг Оул пристально поглядел на собеседника и вытянул руку, проверяя, моросит ли дождь.

– Вот бы мне достало прозорливости понять, когда разойдутся тучи… Ну, оставляю вас наедине с вашими грезами.

Снова оставшись один, Старый Музыкант попытался представить ее в этой обстановке – ее, чье присутствие он ощущал последние месяцы так же явственно, как чувствовал рядом призрак ее отца все эти годы. Выпрямившись, он оглядел обширную территорию храма, различая далекое скорее памятью, чем глазами. С востока границей служит Меконг, с запада территорию отсекает шоссе. Посередине возвышается вихара, прямоугольный молитвенный зал, окруженный просторной верандой с белыми колоннами. Высокие двойные тиковые двери по обе стороны вихары выкрашены в коричнево-красный цвет и расписаны по трафарету глянцевыми золотыми лотосами. Старый Музыкант почти не удивился, узнав, что все постройки лежали в руинах, когда Конг Оул пришел сюда в середине восьмидесятых. Старый Музыкант слишком хорошо знал, что большинство буддистских храмов Камбоджи вместе с церквями, мечетями и другими культовыми сооружениями при красных кхмерах были

превращены в склады, пересыльные центры и тюрьмы. Он лично был свидетелем первых таких трансформаций, предпочитая смотреть сквозь пальцы, как молодые товарищи отрубали головы священным изваяниям и сбрасывали с пьедесталов статуи Будды или использовали их в качестве мишеней, упражняясь в стрельбе. Много раз он хотел признаться настоятелю, какую роль играл при прежнем режиме, но ему всегда казалось, что он уже прощен, прежде чем он успевал открыть рот.

– Я потерял всех до единого членов семьи, – сказал ему старый монах. – Я остался в монастыре, в духовном братстве не столько для поклонения богам, сколько для того, чтобы почитать покойных.

Когда, совершая поездку на лодке по Меконгу, Конг Оул наткнулся на территорию оскверненного Ват Нагары, его внимание привлекли остатки лестницы среди гор щебня и деревянных обломков. Эта полусгоревшая лестница, ведущая в никуда, глубоко тронула настоятеля. Он сразу же взялся за восстановление Ват Нагары.

– Из праха куда нам было двигаться, иначе как вверх? Нам предстояло восстать из пепла.

За вихарой и павильоном для кремаций Старому Музыканту со своего места было видно мемориальные ступы, а за ними – высокую стену с воротами, выходившими на шоссе. Старый баньян отделял ступы от поляны, где проводились торжества и церемонии. В сезон засухи земля была бурой и голой, но сейчас высокая трава, известная своей цепкостью корней, ковром покрывала склоны до самой воды. Песчаный берег почти совсем был скрыт полноводным от сезонных дождей Меконгом: бетонная лестница с балюстрадой в виде нагов наполовину ушла под воду: головы кобр исчезли, и только изогнутые хвосты оставались на виду.

Высокие деревья тропического жасмина затеняли территорию. Ветви прогибались, как гамаки, подкрепляя народное поверье, что в ветвях жасмина любят селиться лесные духи и призраки, привлеченные благоуханьем. Насчет призраков Старый Музыкант уверен не был, но очень любил неземную красоту цветов. Лепестки опадали непрерывным потоком, облекая ступы и дорожки в цветной саван. Они не держатся за жизнь, эти цветы: едва раскроются тычинки и жасмин окажется во всей красе, лепестки перестают цепляться за стебель и опадают на землю умирать. Это цветочное сошествие казалось еще более

проникновенным и значительным на фоне красиво выведенных черной краской строк похоронного смоата – стихов, протяжно распеваемых а капелла, на двух вертикальных полосах белой ткани, висевших у первых колонн павильона кремаций:

«Когда увянут эти цветы,

Так и тело мое ждет неизбежный конец».

Мысль, что даже нечто столь прекрасное, как цветок жасмина, выполняет свое предназначение, принесла Музыканту утешение: его час обязательно пробьет.

Он снова поглядел на первые ворота, затем на вторые – ничего. Ни звука, ни силуэта. Надежда уходила, и ее шаги тяжело отпечатывались у него на сердце.

И случилась интерлюдия, пауза мелодического мерцания. Он почти слышал звук солнечного света, который, отражаясь от лепестков и листьев, падал на мягкую землю попурри нот, воскрешавших в памяти палисандровые плашки изящно изогнутого ксилофона королевского придворного ансамбля. Старый Музыкант снял листья банана, которые защищали от дождя его запас дров, и отложил в сторону. Шла неделя после Пчум Бена, дня поминовения предков, и дожди лили почти непрерывно, словно небо тоже вспоминало этих вечных странников, изгнанников загробного мира, скорбя по ним с новой силой. Земля, не успевавшая просохнуть от одного дождя до другого, казалась сумрачной, пропитанной смутной тоской.

Рядом с поленницей, под маленькой пластиковой занавеской, прямо на земле стояла жаровня, напоминавшая разрезанную вдоль бутылочную тыкву, – большее углубление для огня, а меньшее и более мелкое для золы. Присев на корточки, Старый Музыкант подтянул к себе почерневшую жаровню и пучком прутьев, связанных сухой лианой, начал выгребать пропитанную влагой золу, похожую на густое тесто. Если тучи разойдутся, церемония призывания духа Макары пройдет сегодня на закате. К закату земля подсохнет, и процессия сможет обойти вокруг храма.

Старый Музыкант прикрыл глаза, продолжая работать метелкой из прутьев. Вокруг гудела и бурлила жизнь. Он давно научился сразу улавливать

окружающую обстановку, как другие угадывают жанр и тональность песни по первой фразе. Учитывая, сколько его били по голове в Слэк Даеке, чудо, что он вообще слышит. А сейчас он слышал все. Целый оркестр насекомых гудел где-то под поленницей. Метрах в сорока ревел вздувшийся от дождей Меконг. Прячась под крышей одного из ближайших павильонов, геккон скрипуче повторял:

– Тиккайр! Тиккайр!

На севере, со стороны города, послышался гром. В дальнем углу храмовой территории что-то со свистом рассекло воздух, и послышался дружный шелест листьев, разом падающих с большой высоты. Что-то с глухим толчком ударилось о землю, словно подчиняясь команде грома. Сухая пальмовая ветвь, предположил Старый Музыкант. Недалеко от него два юных послушника на ступеньках своей кот – деревянной хижины на сваях – нараспев, как буддистскую дхарму, заучивали английский урок:

– Меня зовут мыстер Браун. Как вас зовут? Меня зовут мыстер Смыт…

В оранжевых облачениях, но с голыми руками и плечами, этим сочетанием обнаженной кожи и ткани они напоминали Старому Музыканту пару гекконов с оранжевыми пятнами, которых он однажды видел под карнизом своей хижины. Он так и ждал, что послушники скажут: «Тиккайр!», но они без остановки повторяли одно и то же:

– Как поживаете? Спасыбо, хорошо. Спасыбо.

Старый Музыкант не сдержал улыбки: большинству камбоджийцев трудно даются некоторые английские звуки. «Смыт» мог быть легко произносимым кхмерским именем, но никак не мистером Смитом. Глядя на него, нищего старого музыканта, обезображенного и полуслепого, люди, разумеется, не догадывались, что когда-то он бегло говорил на английском. Интересно, примут ли эти мистер Смит и мистер Браун в оранжевых рясах его помощь, если он предложит? Или отнесутся скептически, как часто молодежь к старикам? Он их не винил – юность всегда недоверчива и полна сомнений. Они унаследовали жестокий мир, у них не может не возникать вопросов. Он у них как минимум под подозрением.

– Кде вы живете? Мой доум возле рынька. Мой доум возле рьеки.

Дом, хотел поправить он. Рынка, реки.

В Демократической Кампучии он заставил себя забыть большую часть английского, который учил в молодости, но сейчас, когда английский слышался повсюду, он с каждым днем вспоминал все больше и больше с быстротой и легкостью, изумившими его самого. Часто слово или фраза нарушали течение его мыслей – так камень разбивает гладь пруда, – пуская рябь по поверхности памяти. Так в памяти всплыло английское выражение, которое выучил во время своего недолгого пребывания в Америке осенью шестьдесят первого, в бытность студентом университета, – сердечные струны. Этому выражению его научила женщина, которую он любил.

– Оно могло бы стать прекрасным английским аналогом садиву, – сказала она, положив голову на его обнаженную грудь, когда они лежали на узкой кровати в студенческом общежитии. – Но у твоей лютни только одна струна, единственная.

Она была преподавательницей английского. На уроке он всячески демонстрировал свою способность расслышать «с» в конце слова, что не давалось остальным студентам его группы. Для него этот едва различимый присвист, похожий скорее на вздох, чем на шипящий согласный, означал не просто множественное число, но и множественность мыслей и идей, эхо разнообразия. Лежа в его объятьях, она рассказывала, что означает это выражение и как его использовать в предложении.

– Ты – мои сердечные струны, – сказал он, обнимая ее еще крепче, уверенный в том, что означает любовь. Они были знакомы всего несколько недель. В то время женщины носили короткие, жесткие от лака начесы, но у преподавательницы были длинные мягкие кудри. Высвободившись из небрежного пучка, они падали ей на спину, когда она вбегала в класс. Сильф, рожденный ветром, – была его первая мысль. Он не сомневался – стоит легонько дунуть на рассыпавшиеся ночью локоны, как она поднимется в воздух и улетит, а волосы будут развеваться за ней плащом. Она была невероятно красива.

– В английском неважно, что вы студенты, а я преподаватель, – сказала она при первом знакомстве с классом. – Все обращаемся друг к другу на «ты». Никакой иерархии, не нужно говорить мне «ник гру» – «досточтимый учитель» – или другие уважительные обращения, которые так любят в Камбодже. Мы здесь,

чтобы учиться и познавать себя с помощью другого языка, иного ритма мыслей и чувств. Называйте меня Чаннара!

Больше, чем ее красота, его взволновало и одновременно заставило оробеть ее красноречие. Восемнадцати лет, моложе своих студентов, она обладала уверенностью, какую редко встретишь в камбоджийке, тем более такой юной. Сперва он принял ее самообладание за надменность, обусловленную социальным статусом, но вскоре пришел к выводу, что это скорее результат заграничного воспитания. Дочь кадрового дипломата, который много лет проработал старшим советником в посольстве Камбоджи в Вашингтоне, она выросла в Соединенных Штатах и говорила на английском так же чисто, как на кхмерском и французском. Той осенью, поступив на первый курс колледжа, она узнала, что группа выпускников профессионально-технических школ из Пномпеня ищет дополнительных занятий, чтобы быстрее овладеть английским. Она сказала об этом отцу и, с его разрешения, вызвалась быть их преподавателем.

– Язык – это не просто средство общения, – сказала она очарованной группе, когда они приступили к занятиям. – Это дорожная карта в будущее страны, средоточие общих стремлений народа.

На «языке демократии» она объяснила равенство между «ты» и «я», словно честность и справедливость начинались с равенства местоимений. Именно тогда он в нее и влюбился, в эту теводу в плаще волнистых волос, доходивших до пояса.

У Старого Музыканта закружилась голова. Он попытался сосредоточиться на чистке жаровни от золы, но воспоминания неподконтрольно врывались в сознание, как лучи света, мешая смотреть. Голоса смешивались, ускорялись, и он вдруг понял, что не может отличить один от другого. Они реальны или существуют в его воображении? Мистер Браун и мистер Смит все еще твердят свой урок? Он медлил взглянуть, зная, что если резко открыть глаза, станет больно от света. Однако сомкнутые веки трепетали сами по себе, силясь разомкнуться. Он снова зажмурился, но, к полному своему смятению, увидел изменившийся ландшафт – ожившую фантазию. Лужицы дождевой воды, разной формы, блестели под полуденным солнцем. Осколки озера? Где он? В какое время его занесло? В чье сознание он вторгся? В висках стучала кровь. Мягкие толчки частых, быстрых шагов. Он узнал их. Он слышал, как она бежит к нему.

– Тевода расколола зеркало, папа! – заявила дочь, игнорируя настойчивые просьбы своей няньки вернуться в детскую и лечь на тихий час. Она остановилась в нескольких дюймах от Старого Музыканта, одновременно светящаяся и телесная, будто причудами слабеющего зрения он воплотил часть своих воспоминаний в живую девочку.

– Папа, ты видел? – На улице бушевала тропическая гроза: вспышка молнии рассекла небо. – Зеркало разбилось, папа, и тевода плачет! – Девочка казалась очень огорченной, и отец решил – вот почему она никак не может уснуть. Он принялся объяснять про атмосферное электричество, влажность и конденсат, преобладание юго-западного ветра и особенности муссонов. Но это ее не успокоило, и он, как всегда, сдался перед детским воображением, заговорив шутливо сердитым тоном, как это тевода, такая мудрая и всезнающая, не предвидела, что зеркало, упав с неба, непременно разобьется о землю. Дочка воскликнула:

– Папа, ну ты не понимаешь! Она его нарочно сбросила! Ей захотелось поглядеть на себя отсюда!

Его поразил ход мыслей дочурки, ее способность переходить от одного явления к другому, недетская проницательность и способность воспринимать выходящее за пределы ее маленького мирка несносных нянек и тихого часа. Дочка смотрела на него, ожидая ответа, и ему захотелось протянуть руку и коснуться ее, убедиться в ее реальности и телесности. Она выглядела так же, как всегда – юной, и пропитанный влагой солнечный луч сияющим ореолом окружал ее белое хлопковое платье. Вдруг Старого Музыканта осенило, что она и есть тевода, воплотившийся дух, смотрящий в осколки своего разбитого зеркала – разлетевшегося на части мира.

– Теперь ты видишь, папа? – вопрошала она, повторяя те самые слова, прозвучавшие в другой жизни, где они были вместе.

Он кивнул. Да, вижу. Слепой, но вижу.

Она имела в виду рай.

– Ты видишь рай, папа?

Старый Музыкант открыл глаза. Она исчезла. Мгновенно и без следа, как солнечный зайчик. Ее присутствие было не больше блеска стрелы, пронзившей его глаза, заново ослепив. Скорбь, всепроникающая и лучезарная, расцвела в его груди, и Старый Музыкант вновь увидел храмовые постройки, золу и жаровню. Он сказал себе, что она приходила, что какая-то ее частичка по-прежнему рядом, продолжает существовать вместе с ним. Достаточно простого взгляда на эти крошечные резервуары, на эти блестящие жидкие зеркальца, испещрившие почву, чтобы увидеть ее снова.

– В своей слепоте, – пробормотал он вслух, – я вижу тебя в раю.

Миннеаполис, Миннесота. Инородность этих слов напоминала о расстоянии, которое он когда-то преодолел. Старый Музыкант пытался представить, как все там выглядит, где это на карте, далеко ли от Вашингтона. Осенью шестьдесят первого у него не было возможности толком повидать Америку: первый семестр закончился вестью о смерти его отца, пришлось срочно лететь в Камбоджу на похороны. Дома он обнаружил, что мать от горя тоже заболела, и, несмотря на ее уверения, что она прекрасно справится сама, он не смог ее оставить. Он был единственным ребенком, и после кончины отца за матерью некому было ухаживать. Поэтому он принял мучительное решение отказаться от учебы в Америке, во всяком случае сейчас. Может, ему снова дадут стипендию… В этом нет ничего невозможного – получил же он первую, не зная толком английского!

Он учился на четвертом курсе в Институте искусств и торговли и вскоре должен был стать квалифицированным резчиком по дереву (его специальностью было искусство вырезания традиционных кхмерских музыкальных инструментов), когда ему и еще нескольким однокурсникам предложили двухгодичный языковой курс с погружением на грант американского правительства. Весной шестьдесят первого они записались на интенсивный курс, который вел индус из Бирмы, и к осени достаточно освоились в языке, чтобы уверенно подняться на борт самолета компании «Пан Американ». Сперва они полетели в Гонконг, оттуда в Гонолулу и, наконец, в Америку, о которой он так долго мечтал: одни только бесконечные асфальтовые дороги будили в нем неистощимый оптимизм и надежду.

Откуда ему было знать, что через несколько месяцев он будет ехать по этим же дорогам в обратном направлении – в аэропорт, чтобы улететь, не имея возможности вернуться, к безрадостным перспективам, в страну, которую он, соприкоснувшись с реальностью, начал считать застрявшей во времени,

замкнувшейся в непроницаемом коконе. Он запретил себе думать о Чаннаре, своей любви, с которой пришлось разлучиться, и о своем разбитом сердце. Попрощаться было невозможно – он не мог смотреть ей в глаза. Смирившись с неизбежным – необходимостью ухаживать за матерью, он не осмеливался говорить о своих планах и желаниях, но про себя поклялся: однажды он вернется в Америку и возобновит занятия. Этого так и не случилось – родина вовлекла его в политику, а политика утянула в подполье, в джунгли, в войну.

– Миннеаполисминнесота.

Старый Музыкант произнес два слова как одно, позволив слогам легко скатываться с языка, отмечая, как повторяются звуки, словно бесконечные отражения в зеркальной комнате, будто Миннеаполису и Миннесоте требуется подтверждать свое существование навязчивой аллитерацией. Если сейчас он встанет и поглядит в одну из лужиц, по-детски гадал он, увидит ли он Миннеаполисминнесоту? Увидит ли он рай среди отраженных облаков? В их чистой, белоснежной безмятежности увидит ли он нынешнюю Сутиру, еще одну реинкарнацию теводы, взрослую и совсем непохожую на прежнего ребенка, пристальным взглядом ищущую на земле его и своего отца?

Он положил на жаровню горсть щепок, поджег комок сухих кокосовых волокон и сунул в середину маленького вороха. Поднялся кудрявый дымок, точно медленно пробуждающийся непокорный дух. Крошечное оранжевое с голубым пламя выскочило из сухих листьев и веток, как хамелеон, рожденный алхимией. Пламя росло, язычки множились. Старый Музыкант добавил больших поленьев и отдал пламени свое дыхание – один раз, другой. Огонь поднялся выше, жар достиг лица, напомнив о тепле крошечных ручонок дочери, прижимавшей ладони к его щекам.

– Проснись, папа, проснись! – Он вспоминал те утра, когда она на цыпочках пробиралась в его комнату и будила поцелуем в нос. – Тебе пора заниматься музыкой!

Он стонал, и тогда дочь покрывала легкими поцелуями все его лицо.

– Папа, ты лентяй! – говорила она, дыша на него душистым соком сахарного тростника, который пила на завтрак. Если бы она поцеловала его сейчас, подумал он, если бы она оказалась здесь, как тогда, маленькой девочкой,

нежной и веселой, и осыпала бы его благоухающими сладкими каплями, шрамы и увечья пропали бы с его лица, как рытвины и трещины с измученной засухой почвы под муссонными ливнями. Старый Музыкант страстно хотел снова стать целым…

Поднявшись, он побрел ко входу в хижину. Наполнив чайник дождевой водой, собравшейся в глиняной чаше, он, шаркая, вернулся к жаровне и поставил чайник на огонь. Закопченное дно закрыло оранжевое пламя, как тень луны солнце во время затмения. Войдет ли она в дальние ворота или в те, что ближе? Иногда он видел ее так явственно, что замирало сердце. Она приедет или приплывет на лодке?

Каким бы путем она ни пришла, Старый Музыкант знал – она предстанет перед ним как видение, и ее красота окажется столь же неукротимой, как у матери. Уже в четыре года она была вылитая Чаннара, с длинными кудрявыми волосами на полспины. Малышка, в которой больше волос, чем тела, больше духа, чем массы. На бегу она казалась облаком летящих прядей, дуновением ветра, мыслью или желанием, мелькнувшим мимо. Если он не поостережется…

Старый Музыкант ахнул, шокированный собственным коварством и фокусами, которые проделывает ум с надеждой и памятью. Он имел в виду Сутиру. Это ее он ждет.

На улицах не протолкнуться – они забиты прохожими, торговцами и транспортом всех видов. Автомобили, от внедорожников до малолитражек, некоторые с правым, другие с левым рулем, вплотную двигались по узким полосам, замусоренным каменными обломками. Довольно часто можно было видеть, как какая-нибудь машина пробивается в противоположном направлении, едва не сталкиваясь с едущими навстречу, без малейшего уважения к правилам вождения и здравому смыслу. Тук-туки – моторикши – стрекотали рядом с настоящим танком на колесах, щеголявшим огромными буквами «Лексус» во всю ширину корпуса. Видимо, владелец решил лишний раз подчеркнуть свой статус, чтобы никто, смутившись при виде шторок искусственного шелка с оборками на тонированных стеклах и прочих несуразностей, не принял «Лексус» за машину попроще. Велотакси (стремительно вымирающий вид), в основном без пассажиров, бесцельно разъезжали туда-сюда.

Открытые тележки, прицепленные к мотоциклам, были нагружены всевозможным добром – от унитазных сидений до огромных матрацев, нарезанного стекла с острыми углами и арматурных стержней, опасно торчавших прямо в сторону толпы. Прошло уже больше недели – десять дней, если точно, – а Тира все никак не могла привыкнуть к контрастам и противоречиям, к бесконечной уличной акробатике.

Мопеды перевозили пирамиды картонных упаковок яиц, пышные султаны живых кур, привязанных за лапы вниз головой, поросят, возившихся и визжавших в тесных бамбуковых клетках. Древние грузовики, набитые пассажирами, клокотали моторами рядом с сияющими «Ленд Крузерами», в которых ехали сотрудники иностранных гуманитарных миссий, чей обеспеченный вид и уверенная осанка разительно контрастировали с замызганным простонародьем, которому они приехали помогать. На тротуарах с блестящих стеклянных тележек продавали лапшу и горячие булочки, а рядом теснились кривобокие деревянные стеллажи, где торговали бензином и слабо фосфоресцировавшим антифризом в бутылках из-под газировки. Радуга из вредных веществ, ядов и всяких разносолов, и попробуйте отличить одно от другого! Не дай бог все это загорится – полыхнет эта выставка коктейлей Молотова…

Эта обстановка до дрожи напоминала Тире массовую эвакуацию из Пномпеня два с половиной десятилетия назад, когда красные кхмеры выгоняли горожан в деревни, погрузив столицу в апокалипсический хаос.

Барачные поселки цеплялись за свои клочки земли, теснимые новыми жилыми комплексами, просторными территориями отелей, огромными, в американском стиле, моллами и однотипными, в китайском стиле, таунхаусами. Открытые сточные канавы, забитые пластиковыми бутылками и пакетами, с почерневшей водой, настоящий рассадник болезней, неизбежных при здешней жаре и грязи, тянулись по обочинам перед гордо красовавшимися современными клиниками и аптеками. Неоновый отсвет казино и ночных клубов, вибрировавших от поп-музыки, рока и хип-хопа, ложился на осыпающиеся кирпичные стены соседних буддистских храмов. Пномпень убедительно демонстрировал возможность импровизированного существования, жизни в условиях постоянных перемен, чреватой бунтом вроде последнего кровавого переворота, случившегося всего шесть лет назад, в девяносто седьмом. Артиллерийские обстрелы, танки и груды тел в теленовостях напоминали страшные дни прихода к власти красных кхмеров. Здесь всегда зреет потенциал для новых войн и революций – это становится понятным, стоит выйти за пределы охраняемой территории отеля

«Ле Рояль». Несмотря на кажущееся спокойствие и стабильность, Тира чувствовала напряжение в местах соединения всех этих несовместимых элементов, насильственно собранных воедино.

– С вами все в порядке? – спросил мистер Чам, взглянув на нее в зеркало заднего вида.

Тира кивнула. «Чолк кни рос», – сказал таксист при первом знакомстве, когда вез ее из аэропорта, словно извиняясь за беспорядок вокруг. Тогда Тира не вполне уловила смысл, но теперь начала понимать, что это «объединение сил», попытка сосуществования в условиях трагедии является своего рода исправлением, предварительным перемирием выживших – жертв и палачей – среди потерь и разрухи.

Снова отвернувшись, мистер Чам повел своего краби санг – «ненасытного пожирателя бензина» – по круговому движению, сохраняя невозмутимость, даже когда мотоциклы проскакивали мимо или влезали перед ним. Сине-черная «Камри» девяносто третьего года, гордо сообщил он Тире, «импортирована» из США, из Кали, как он назвал Калифорнию в подражание тамошней камбоджийской диаспоре. Мистер Чам сказал это запросто, будто он в Калифорнии как свой. Машина не подлежала восстановлению после аварии, и дорога ей была на свалку, но ее вместе с другим автомобильным хламом привезли сюда, подлатали и дали вторую жизнь. Бесчисленные сине-черные седаны заполонили узкие полосы, напомнив Тире одетых в черное солдат, наводнивших эти улицы два с половиной десятка лет назад, когда новое правительство объявило конец эры машинерии и приказало населению страны вернуться к жизни без машин.

По иронии судьбы мистер Чам был одним из таких солдат, рекрутированных прямо на улице и получивших приказ везти городских в деревню на своем грузовике. Он, частный водитель, вынужденно перешел на сторону революции, когда красные кхмеры остановили его фургон, нагруженный ящиками с газировкой, и сказали: либо ты с нами, либо мы тебя расстреляем за «капиталистическую натуру». Работа в компании, занимавшейся импортом и экспортом, привела мистера Чама в Пномпень, а жена и трое детей оставались в родной провинции. Он примкнул к красным кхмерам, поверив, что сможет воссоединиться с семьей. Ни жены, ни детей он больше не увидел и до сих пор ничего не знает об их судьбе.

Когда в аэропорту Тира выбрала его из толпы таксистов, она, разумеется, об этом не подозревала. Пока другие водители, толкаясь, осаждали клиентку, соперничая за ее внимание, мистер Чам стоял в сторонке, застенчиво улыбаясь. Тире понравилось такое безмятежное спокойствие среди сутолоки и шума: оно внушало уверенность. К тому же мистер Чам своим несколько детским, с большим подбородком и носом картошкой, лицом напомнил Тире посмуглевшего и постаревшего Джеки Чана, кинозвезду китайского происхождения, вечного «хорошего парня». Спустя пару дней после того, как он впервые забрал ее из отеля и повез по городу, таксист поделился своей историей, чтобы Тира сознательно решала, продолжать знакомство или нет. Некоторое время она колебалась, но вспомнила, что когда-то уже доверилась солдату и он спас ей жизнь.

Несмотря на свое прават смоксманх – «небезупречное прошлое», мистер Чам был неизменно щедрым и терпеливым и всегда отвечал на первом гудке, когда звонила Тира. Он вез ее куда угодно в самое неурочное время и ни разу не высказал сомнения по поводу неоднократно возникавшего у клиентки желания погулять перед королевским дворцом на рассвете, да еще в дождь, или ехать в самый зной к театру Чактомук, куда давным-давно, как Тира рассказала мистеру Чаму, она ходила лакомиться соком сахарного тростника. Или к паромной переправе, полюбоваться слиянием трех рек.

Меньше чем через неделю он привык послушно повторять на своем такси извилистый путь непредсказуемых поворотов ее воспоминаний и выполнять не обозначенные ни на одной карте метания. Бывало, они искали места, которые Тира смутно помнила с детства, и узнавали, что их больше не существует; тогда мистер Чам огорчался едва ли не сильнее своей пассажирки. Вот и сейчас они ехали в храм за городом, хотя работала масса других храмов гораздо ближе. Мистер Чам не задавал вопросов, и это Тира ценила в нем больше всего.

На развороте им удалось втиснуться в плотный поток машин. Тощая, как жердь, женщина постучала в стекло, прося мелочь. Мистер Чам опустил стекло и дал ей тысячу камбоджийских риелей – примерно двадцать пять центов: хватит на фунт риса и рыбы. Нищенка поблагодарила, сложив ладони в традиционном сампеа. Таксист спросил, указывая на маленькую девочку, привязанную к груди женщины черно-белой кромой – белые клетки пожелтели от грязи:

– Это твоя дочь?

Женщина ответила – нет, но она заботится о малышке, как о родной. Ее родители были ей близкими друзьями, можно сказать, братом и сестрой.

– Они умерли от СПИДа, – поколебавшись, добавила женщина.

Тира, в темных очках, замерла на сиденье: в голове не укладывалась такая откровенность с совершенно незнакомыми людьми. Как реагировать в этой стране, где личная трагедия – дело абсолютно привычное и даже обыденное? Она подалась назад, не желая смущать нищенку.

– Хелло, мэм, – женщина приняла ее за иностранку. Мистер Чам невесело усмехнулся, но не стал говорить, что Тира камбоджийка. Впереди открылся просвет, и такси двинулось дальше, чему Тира обрадовалась. При каждой остановке машину осаждали бездомные и голодные. Стайки оборванных детей облепляли седан, качая ладонями, сложенными в сампеа, и шевеля губами в непрерывной мольбе. Если они становились чересчур агрессивными, мистер Чам поднимал свое стекло и старался отвлечь Тиру светским разговором – например, принимался восхищаться Америкой:

– Там все такое блестящее, новое и огромное! Совсем как сами американцы…

Можно подумать, от разговоров об Америке Тира могла забыть, что она в Камбодже! Дети стучали ей в стекло.

– Мэм, пожалуйста, немного денег на еду! Пожалуйста, мэм! – наперебой просили они.

Сегодня сильнее обычного – возможно, потому, что она впервые решилась выехать из Пномпеня, – Тире казалось, что она участвует в эвакуации наоборот: не бредет в неведомые дали, а возвращается туда, где она стала чужой и в ней уже не признают соотечественницу. Ее принимали за иностранку – тайку, малайзийку, филиппинку, любую другую азиатку, но только не камбоджийку, а ей хотелось, чтобы все знали – она тоже коан кхмер, дитя этой древней расы, вернувшаяся на родину, где от ее дома даже фундамента не осталось, на эту землю, опустошенную и покрытую шрамами, как и ее душа. Тире хотелось, чтобы все поняли – она тоже знала войну и революцию, теряла любимых и чудом выжила.

Однако ставить себя на одну плоскость с местными жителями, вытаскивать на свет свои былые страдания и равнять их с тяготами, которые ежедневно терпят камбоджийцы в борьбе за выживание, притязать на право быть с ними одной крови лишь потому, что у них общая история, было бы бесстыдным выпячиванием собственной персоны, поэтому Тира не снимала темных очков, защищая свою фальшивую «иностранность».

– Все нормально, – утешал ее мистер Чам, будто это Тира нуждалась в утешении. – Нищих много, нельзя же всем помочь.

Девушка кивнула, пытаясь справиться с эмоциями, соревновавшимися за право отразиться на ее лице. Когда она уже не могла больше выдержать, то утешилась сознанием, что ей сказочно повезло: она не просто уцелела, но и уехала.

– Что это вы стряпаете?

Вырванный из своих воспоминаний, Старый Музыкант поднял голову и увидел стоящего рядом доктора Нарунна.

– Я… Да вот хотел чаю попить, достопочтенный…

В соответствии с традицией, он обращался к посвященному в монашеский сан врачу, как к монаху. Он чуть не прибавил «за ужином», но вовремя удержался от упоминания пищи в присутствии человека, принявшего послушание – никакой еды и напитков после полудня, кроме воды.

– Я не видел, как вы подошли, почтенный.

– А я решил подкрасться и унести плошку того, что вы варите. – Доктор Нарунн опустился на корточки, подобрав и подоткнув полы оранжевой рясы. – Я выпью немного горячей воды со сгущенным молоком, и еще мне ломтик вон того пирога, пожалуйста. – Доктор засмеялся, и его кадык радостно запрыгал. – Это я над собой смеюсь. В первый раз, когда меня приняли в братию и пришлось поститься, я все время думал о еде. Пока мы ходили по городу за подаянием, я представлял, что сказал бы, если бы люди пригласили меня к себе на кухню. Но

никто меня, разумеется, не позвал! – Он рассмеялся: – Не создан я для монашеской жизни!

Настроение Старого Музыканта сразу поднялось, такая жизнерадостная энергия исходила от его друга. В осанке молодого человека чувствовалось благородство, а в движениях – уверенность. Каждый год в сезон дождей доктор на месяц становился членом монашеской братии, чтобы помедитировать и немного отдохнуть от своего нелегкого труда.

– Знаете, – продолжал доктор Нарунн, следя за ним, – вы постоянно щуритесь, больше, чем раньше. Нам необходимо сохранить то, что осталось от вашего зрения. – Именно к Нарунну обращался Старый Музыкант, чтобы написать письмо. – Пожалуйста, позвольте подобрать вам очки!

– Спасибо, достопочтенный, это очень любезно с вашей стороны… – Как сказать молодому врачу, что его зрение невозможно восстановить, что частичная слепота связана с предательством мозга, а не глаз? – Но с этими современными приладами на носу я растеряюсь окончательно. – Пусть окружающие считают его упрямым, невежественным крестьянином, не признающим науки. – Может, мне больше подойдет повязка на плохой глаз? Вот когда буду глядеть молодцом!

– А ведь вы правы! Как же я сам об этом не подумал? Безусловно, глаз будет меньше напрягаться, если его прикрыть. Я посмотрю, что можно сделать.

– Я пошутил, достопочтенный, не тратьте свое время!

«Правда в том, что мне лучше вообще ничего не видеть, – подумал он. – Я и без того жду слишком много страданий».

– Да, но вместе с ними обязательно появятся и возможности для трансформации, пусть и не сразу.

Старый Музыкант обомлел. С ним это случается все чаще – он говорит вслух, не замечая того. Граница между мыслью и речью расплылась, и он снова оказался в камере Слэк Даека («Говори, что ты знаешь! Признавайся! Иначе с тобой будет то же, что и с другими!»). От прилива крови потемнело в глазах, будто она откуда-то просачивалась внутрь черепа.

Он заморгал, прогоняя морок, и разглядел, что доктор Нарунн пристально смотрит на него. Старый Музыкант молчал, в ужасе от игр собственного разума.

– Я только что говорил с настоятелем, – заговорил молодой врач, меняя тему. – Какое-то срочное дело за пределами храма требует его внимания, и он хочет, чтобы я провел вечернюю церемонию вместо него. Я так понял, вы будете играть на садиве?

– Он еще очень юн, достопочтенный.

– Простите?

– Я про мальчика.

– Я тоже очень удивился, узнав, что это наш Макара. Недавно родители приводили его ко мне в кабинет… У мальчишки все симптомы метамфетаминовой зависимости, он больше похож на бесплотный дух, чем на пустую оболочку!

– Ему сегодня исполняется двенадцать. Мне сказали, родители выбрали для церемонии день рождения Макары как символ возрождения. По-моему, достопочтенный, этот ребенок еще слишком мало прожил, чтобы злоупотребление вошло у него в привычку. Откуда же зависимость?

– К сожалению, наркомания стремительно молодеет. Случаи наркозависимости отмечаются уже среди семи-восьмилетних. Метамфетамин – популярный наркотик среди бедной молодежи, которая, как Макара, ищет в нем забвения от реальности. Я не могу их винить – в городе они видят богатые дома, дорогие машины, телевизоры с плоским экраном, цифровые фотоаппараты, компьютеры, ноутбуки, огромные капиталы, сосредоточенные в руках нескольких человек…

О некоторых реалиях Старый Музыкант слышал впервые: телевизоры с плоским экраном, цифровые фотоаппараты, ноутбуки… Он повторил про себя новые понятия, запоминая, как заучивал в молодости английские слова. Многого из перечисленного Нарунном Камбоджа не знала еще несколько лет назад, и уж точно этого не было в Америке в шестьдесят первом году. Что касается компьютеров, у Конга Оула стоит в кабинете маленькое квадратное жужжащее

устройство со светящимся экраном, на котором меняются картинки, словно некое воплощение памяти перебирает свои воспоминания. А ведь Старый Музыкант помнил дни, когда монахам разрешалось владеть максимум парой сандалий. Далеко же продвинулся прогресс, несмотря на неудавшиеся революции! Если б ему в свое время хватило терпения и веры…

– Они видят вокруг роскошь и блеск, – в голосе доктора Нарунна зазвенел металл, – а у самих нет даже самого необходимого. Вы знаете, что за стоимость одного автомата семья Макары могла бы купить достаточно гофрированного железа, чтобы перекрыть крышу? – Врач покрутил головой. – Однако автоматов вокруг как мобильников, потому что наши «высокоблагородия» и их детки раздают оружие направо и налево, будто игрушки, своим телохранителям…

Старому Музыканту стало ясно, почему его молодой друг время от времени вынужден жить в монастыре: открыто критиковать правительство означало рисковать жизнью. Наемных убийц по десятку на каждом углу – любой согласится за несколько сотен долларов.

– Пожалуй, что вы и правы, – тяжело вздохнул Нарунн. – Вокруг сплошные страдания, от них не скрыться… – надежда в голосе доктора сменилась отчаяньем. – Бедняки остаются бедными и не могут вырваться из трущоб, из этого ада для живых, если хотите знать мое мнение…

Чайник выпустил из-под крышки струю пара и сердито зашипел.

– А-а, он возмущается моей диатрибой!

Старый Музыкант и доктор попытались рассмеяться, но горечь присоединилась к их компании и отказывалась уходить.

– Вы должны выпить чаю, – без особого энтузиазма сказал доктор Нарунн. – И поесть чего-нибудь, чтобы у вас хватило сил до конца церемонии…

Он вдруг замолчал, глядя на лестницу молитвенного зала.

– А ведь у нас гостья, – сказал он через секунду. – В белом платье и широкополой шляпе. Судя по одежде, иностранка.

Когда они были вдвоем, доктор брал на себя труд описывать все, что происходило вдалеке.

– Она поднимается в вихару…

– Кто-то, кого мы знаем, достопочтенный?

Но доктор Нарунн не слышал. Он встал, поправил рясу и, что любопытно, оглядел себя.

– Пойду узнаю, не нужна ли ей помощь.

Тира прямо-таки взлетела по ступеням отеля «Ле Рояль», чертя босоножками по красной ковровой дорожке, устилавшей широкую лестницу. Девушка низко опустила голову, чтобы ни с кем не встречаться глазами. Людей было много – постоянное движение вверх-вниз по ступеням. Кто-то поздоровался – знакомый голос, значит, в ней узнали постоялицу гостиницы. Стоявший на площадке управляющий отелем, прервав свою болтовню, обратился к Тире:

– Salut! ?a va?[2 - Привет! Как дела? (фр.)]

Тира ответила на приветствие – она немного знала французский, но не замедлила шаг. На верху лестницы она обернулась и еще раз помахала на прощанье мистеру Чаму. Она видела, что водитель обеспокоен: он не хотел оставлять пассажирку в таком состоянии, но заляпанную грязью «камри» нужно было убрать, чтобы пропустить сверкающие черные «мерседесы», въезжавшие в открытую галерею перед входом.

С той минуты, как она выбежала из храма, Тира не произнесла ни слова. Всю дорогу до гостиницы просидела как немая, надеясь, что таксист не сочтет ее молчание за недовольство его сервисом или уровнем вождения. Прошлое, как наверняка знает мистер Чам, – коварная территория с ловушками, волчьими ямами и безымянными могилами. Как бы бдителен ты ни был, непременно наткнешься на что-нибудь и, шокированный, оглушенный, боковым зрением заметишь призрак, по которому истосковалась твоя душа. «В память учителя музыки…»

Наклонив голову, чтобы поля соломенной шляпы прикрывали лицо, Тира быстро прошла мимо швейцаров, одетых в шелковые шаровары и туники со стоячим воротничком. Они с легким поклоном распахнули перед ней створки дверей, но ничего не сказали, видя, что постоялица не в настроении обмениваться любезностями.

Она запаниковала. Она просто запаниковала. В Ват Нагаре на лестнице вихары к ней сзади подошел монах, и когда Тира обернулась, ее взгляд случайно упал на мемориальную ступу с именем отца, горевшим золотом на белом куполе. Это было равносильно удару под дых – девушка не могла произнести ни слова. Поддавшись безотчетному порыву, она притворилась иностранной туристкой, не знающей кхмерского, и бросилась наутек, оставив оторопевшего монаха на ступенях. Выбежав из ворот, она попросила мистера Чама сейчас же ехать, удивив его такой эмоциональностью.

– Пожалуйста, пожалуйста, едем! – повторяла она срывающимся, на грани истерики, голосом.

«Камри» с визгом покрышек рванула с места, подняв множество грязных брызг из луж, оставшихся после недавних дождей. Через открытые ворота Тира дочитала посвящение. «В память учителя музыки Аунга Сохона и всех погибших членов его семьи». Тира оказалась совершенно не готова к такому моральному потрясению, к итоговой строчке своих потерь.

Она приехала в храм, не оповестив ни настоятеля, ни кого-либо еще, и тихо вошла с бокового входа, попросив мистера Чама подождать у главных ворот. Ей хотелось побыть наедине с призраками, ощутить близость дорогих людей. Вместо этого она лицом к лицу столкнулась со своим одиночеством, представшим во всей своей полноте в блеске выгравированного посвящения.

Сейчас Тира торопливо шла по сияющему мраморному полу вестибюля с элегантной тиковой мебелью и украшениями в стиле ар-деко. Огромная стена выставляла напоказ две большие черно-белые фотографии Жаклин Кеннеди во время ее исторического визита в Камбоджу в 1967 году. В угловом баре Деви, хорошенькая молодая официантка, с которой Тира почти подружилась, украшала орхидеями бокалы со свежими соками – поприветствовать новоприбывших. Тире хотелось попросить сухого джина с тоником, чтобы прогнать напряжение из шеи и плеч, но прежде чем Деви подняла на нее глаза, Тира вышла на веранду, где семейная пара с сынишкой наслаждалась дневным

чаем с тортом в кондиционированной прохладе.

– Papa, maman, regardez le lezard![3 - Папа, мама, смотрите, ящерица! (фр.)] – воскликнул малыш. Тира уже видела эту камбоджийско-французскую семью и сейчас еле сдержала слезы, слыша, как мальчик произносит свое «папа» – кругло и крепко, точно объятья.

Семейство улыбнулось ей, но Тира не смогла ответить, чувствуя, что, если расслабить хоть одну мышцу лица, развалится все, что она сдерживала из последних сил. Толкнув дверь, она сделала несколько шагов по ковровой дорожке между двумя бассейнами, устроенной так, что казалось – это мостик над водой. Просторный, весь в цветах, внутренний двор, образованный четырьмя зданиями в колониальном стиле, затененный листвой огромных саманей, казался совершенно другим миром по сравнению с Пномпенем.

Дойдя до дальнего корпуса, Тира вошла в мягко освещенный холл. Деревянные каблуки босоножек стучали по глянцевым черно-белым плиткам. В доме ее детства был такой же пол… У своего номера Тира не сразу справилась с ключом и замком, и одна из горничных, заметив ее нервозность, поспешила подойти и открыть для постоялицы дверь. Тира кивнула в знак признательности и быстро вошла в комнату. Повесив снаружи знак «Не беспокоить», она заперлась и, не включая свет, прошла в ванную. Сбросив шляпу и стянув белое хлопковое платье, Тира встала в ванну на львиных лапах, повернула ручки душа, с наслаждением приняла хлынувшую на нее воду и наконец-то заплакала, одинокая и обнаженная в своей скорби.

Монахи вышли из своих тесных хижин, воспользовавшись затишьем между дождями. Их нечеткие, смазанные силуэты напоминали щепотки куркумы или молотой корицы, рассыпанные по территории храма.

На травянистой лужайке между залом для церемоний и хижиной Старого Музыканта группа монахов затеяла игру в соккер. Подобрав рясы, чтобы не пачкать подол, они катали старый мяч. Другие собрались вокруг одного монашка, который, несколько раз подбросив мячик с перьями ребром стопы, запустил его повыше, чтобы следующий игрок поймал волан и продолжил эту хореографию.

Старый Музыкант с удовольствием следил за движениями и звуками вокруг. Обернувшись на звук приближающихся шагов, он увидел «мистера Брауна» и «мистера Смита», направлявшихся в вихару, и повернул голову, чтобы следить за ними хорошим глазом. Послушники проворно взбежали по лестнице и вскоре показались в окне. Усевшись рядышком, как два оранжевых макао, упершись ногами в деревянные подоконники и положив вытянутые руки на поднятые колени, они разглядывали реку и простиравшиеся за ней дали.

Старому Музыканту стало интересно, не замышляют ли «мистер Браун» и «мистер Смит» побег, возмечтав о свободной жизни. Оба подростка были сиротами – родители «мистера Брауна» умерли от СПИДа, который, по словам доктора Нарунна, стремительно распространялся по стране из-за роста проституции, торговли людьми и наркомании. А отец «мистера Смита», журналист, известный резкой критикой политики захвата земель и насильственного выселения жителей, был застрелен на людном рынке неизвестными, умчавшимися на мотоцикле. Через месяц та же судьба постигла и мать «мистера Смита». Осиротевшие мальчишки недавно приняли монашеские обеты и, скорее всего, останутся при храме, пока не повзрослеют, чтобы жить самостоятельно.

Во время Чол Васса, «затворничества в сезон дождей», длящегося с середины июля по конец октября, когда муссонные дожди льют особенно сильно, буддистские монахи удаляются от внешнего мира и не выходят с храмовой территории, посвятив себя занятиям и медитации. В это время много молодых людей и подростков приходят в монастырь на временное послушание – от трех дней до трех месяцев. Большинство – сироты, чьи родители, как у «мистеров Брауна и Смита», пали жертвами бесчисленных болезней бедности, насилия вооруженных политиков или личной мести. Таких детей никто не берет из страха заразиться или же навлечь на себя вендетту, а в храме они находят подобие семьи, крышу над головой, заботу и пищу, хоть и раз в день. Кто-то решается избрать духовную стезю, но большинство просто спасается здесь от полной нищеты. Тем не менее, настоятель Конг Оул редко отклонял просьбы неофитов, считая, что образование, практическое и духовное, нельзя получать на пустой желудок или дрожа под проливным дождем.

Старый Музыкант умылся водой из глиняной чашки, потом намочил один конец своей кромы и обтер руки и торс, поливая на ноги в шлепанцах, он отмыл их от грязи и побрел в хижину переодеваться для церемонии. Он нашел традиционную белую рубаху и пару черных брюк с запахом – единственную свою

одежду без заплат и пятен. Кстати, это был подарок родителей Макары на Кратин, праздник с карнавалом, когда под бой кубкообразных барабанов чайям огромные марионетки зазывают прихожан и гостей в храм, делать пожертвования. Когда Раттанаки подали ему свернутую одежду, Старый Музыкант не сразу решился ее взять, напомнив им, что он не монах, у него нет духовной мудрости и ему нечем с ними поделиться, чтобы облегчить их трудности. Супруги ответили, что ничего от него не ждут, кроме простого пожелания – молитвы-другой теводам и богам, чтобы у них, Раттанаков, всегда был рис в горшке и место, где спать, и чтобы их сын Макара бросил свои странности и вернулся в школу, вырос сильным и предприимчивым. Старого Музыканта тронула их щедрость. Он знал, что супруги ограничены в средствах: жена продает овощи, а муж таксует на мотодапе – развозит людей на своем ржавом скутере. Вдвоем они едва зарабатывали столько, чтобы прокормиться самим и растить сына. Отчего они решили, что такой неимущий жалкий червяк, как он, в силах изменить их жизнь своими пожеланиями? Однако мнение Раттанаков заставило его задуматься. Более того, оно привело Старого Музыканта к небольшому открытию.

Он не обратился к религии; не вернулся он и к вере в товарищество и братство – идеологию революции, но скромный подарок в виде одежды, сделанный с уверенностью, что отданное не пропадет втуне, заставило его понять: произвольность рождения и обстоятельств все-таки можно изменить, но не божьим промыслом и не социальным инжинирингом, а такими вот бескорыстными поступками, простыми проявлениями сочувствия. Старый Музыкант не сомневался, что без людской доброты скитаться ему по улицам нагому и босому и жить среди городского отребья.

И он пожелал Раттанакам огромного состояния – не меньше того великодушия, которое они проявили. Наверное, так он и научился молиться – не как молятся богам, а просто время от времени делая паузу и думая о других.

Он подошел к дверному проему и, прежде чем опустить полог из мешковины, чтобы одеться без свидетелей, еще раз оглядел храмовую территорию. Перед глазами мелькнула белая вспышка, он заморгал. Если сказать об этом доктору Нарунну, тот, скорее всего, скажет, что Старый Музыкант слепнет и на здоровый глаз, и белые всполохи, которые он видит все чаще, – это нечто вроде фантомной катаракты, предвестника начала болезни и полной слепоты. Нет, ему говорить нельзя. Лучше думать, что это она, призрак его скорби, мелькнула перед глазами. Он видел ее везде, куда смотрел.

Стук бронзового кольца эхом раздался в коридоре. Послышался мужской голос:

– Доставка еды!

Тира поплотнее запахнулась в халат, из скромности придерживая ворот, и открыла дверь. Молодой Самнанг, который уже приносил ей еду, вошел в комнату с подносом, на котором стоял чайник с кипятком, вазочка с разнообразными чаями, миска с дымящейся рисовой кашей и бокал с орхидеями. За Самнангом, который опустил поднос на кофейный столик перед диваном, вошла Деви и поприветствовала Тиру, сложив ладони в традиционном сампеа.

– Мы беспокоились, старшая сестра. Вы не очень хорошо выглядели, когда вернулись. – Она отступила, чтобы смотреть Тире в лицо, не запрокидывая голову. Со своими пятью футами восьмью дюймами роста Тира возвышалась над Деви, но, видимо, казалась хрупкой или расстроенной, раз вызывала такую симпатию и заботу со стороны гостиничной обслуги. Деви повела глазами на поднос с едой и снова посмотрела на Тиру:

– Рисовая каша очень питательна, ею кормят заболевших. Вы заболели, старшая сестра?

Стоявший за ней Самнанг тревожно свел брови. Тира покачала головой.

– Может, вам хочется чего-нибудь еще? – настаивала Деви. – Вареных яиц, свинины под кисло-сладким соусом к рису? Или соленой рыбы на гриле?

– Спасибо, но у меня все есть. Это, должно быть, из-за жары – никак не привыкну. После душа стало легче. Мне уже совсем хорошо.

– Вы каждый день куда-то ездите. Может, вам отдохнуть, побыть в номере день-другой? Посмотрите отель – здесь очень красиво. Снаружи много грязи и пыли – Срок Кхмер не Америка.

Да, грязно. Будто в этом вся проблема. Тира подписала счет и подала Самнангу. Они с Деви поклонились и вышли. Когда тяжелая деревянная дверь мягко закрылась, до слуха Тиры донесся быстрый шепот:

– Будь она потолще, была бы очень красивой.

– Это такой стиль.

– Ходить костлявой и грустной?

– Вы, парни, ничего не смыслите в моде!

– Я считаю, старшая сестра красива как есть. Я и тебя считаю красавицей, Деви.

Деви шикнула на него, и Тира живо представила, как официантка покраснела. Старшая сестра – тут ее все так называют. Даже в Штатах камбоджийцы обращаются к друг другу по-семейному. Там Тира относилась к этому с безразличием, но в Камбодже это стандартное обращение, претензия на родство, иллюзия неразрывной связи времен всякий раз болезненно отзывалась в душе. Может, Деви и вправду знает, о чем говорит: здешняя пыль, темно-красная, окрашенная скорбью, не желала смываться, сколько ни стой под душем.

Тира подошла к письменному столу у изголовья кровати, остановилась перед зеркалом на стене и провела пальцами по влажным волосам, в который раз пожалев, что в минуту опрометчивой поспешности, за неделю до отъезда, она взяла ножницы и, как делают буддисты, расставаясь с прошлым, отрезала длинные пряди. Все выглядело не так плохо благодаря ее парикмахерше, которая, увидев Тиру, заахала:

– О-о, такие прекрасные кудри! Со мной сейчас будет обморок!

Но сейчас Тире казалось, что волосы до плеч делают ее еще более тонкой, длинной и гибкой. Много месяцев она толком не спала и мало ела.

Она надула щеки, представляя, каким стало бы лицо, если бы она пополнела и меньше походила на бесплотный дух.

– Может, ты набрала бы пару фунтов, не таская этакую тяжесть, – привычно поддразнивала Амара, проводя ладонью по тяжелым, густым кудрям Тиры. – Хотя я не представляю тебя другой. Ты копия своей матери.

Всякий раз, слыша это от тетки, Тира ощущала эхо иной себя, словно тело принадлежало не только ей.

Она вернулась к дивану, опустила в чайник пакетик «Эрл Грей» и в ожидании, пока чай заварится, начала медленными глотками есть любимую рисовую кашу. Когда она была ребенком и все страшно голодали, даже несколько ложек жидкой каши на воде успокаивали желудок, уменьшая рези. Как же давно это было… Но как бы далеко Тира ни уехала, ощущение сжимающихся от голода внутренностей по-прежнему способно пройти время и пространство и отправить ее в те времена, когда голод был единственным, что она знала. Налив чаю в чашку, девушка дотянулась до стоявшей на полу сумки и вынула две книги, купленные в гостиничном киоске рано утром: путеводитель «Одинокая планета» и сборник сочинений. Тонкие пальцы листали путеводитель до карты Пномпеня. Тира обратила внимание, что в книге многие названия улиц по-прежнему начинаются с французского «rue»; как и на дорожных знаках. Она начала читать их вслух подряд, будто главы учебника истории – от мифического прошлого Камбоджи до ее контрастного настоящего. Она нашла Дуань Пень, где стоит отель, – авеню, названную в честь легендарной вдовы, госпожи Пень, которой якобы явилось божество и приказало возвести храм на горе, в двух кварталах к востоку отсюда. Вокруг храма и вырос Пномпень, буквально «Холм госпожи Пень».

Центральные проспекты с названиями вроде Конфедерация России или Димитров потеснили улицы, названные в честь членов королевской семьи – Сисовата и Нородома Сианук, точно взбунтовавшись против феодализма. Пожалуй, лишь в Пномпене Шарль де Голль мирно соседствует с Иосипом Броз Тито, а Джавахарлал Неру с Мао Цзэдуном и Абдулом Каримом. Карта напоминала погружение в глубь слоев геополитики, которые в этом городе наслаиваются и перемешиваются, но ни один не стирает более ранний полностью.

Отложив путеводитель, Тира взяла сборник и обвела указательным пальцем буквы на обложке: «Осмысление геноцида в Камбодже». Из всего, что предлагалось в киоске, это заглавие привлекало внимание своей жирношрифтовой заглавной уверенностью и обещанием объяснений. Тира перевернула несколько страниц и нерешительно начала читать, свернувшись на софе, как много лет назад в креслах библиотеки Кроча в Корнельском университете, где хранится крупнейшее собрание сочинений азиатских авторов. Многие часы она читала старые камбоджийские журналы и оригиналы

произведений, ища ответы, лучше узнавая родной язык и утоляя вновь проснувшуюся детскую любовь к чтению. Несмотря на мягкое предупреждение тетки, Тира тянулась к истории, привлеченная ее непрерывным движением и легкостью обращения с языком потерь.

– То было тогда, а это сейчас, – напоминала Амара. – Это все в прошлом, мы оставили эту землю.

Камбоджа. Кампучия. Срок Кхмер. Тира знает – эти слова никогда не уйдут из ее языка. Они никогда не покинут ее, даже если отскребать память вместе с кожей. Они оставили на ней несмываемые отметины, запятнали потерянными жизнями тех, чьи лица она забыла, но чьи голоса, вопли и мольбы сплелись в тончайшую материю где-то между сном и кошмаром. Она снова вспомнила тот вечер и свет заходящего солнца, когда трупы на рисовом поле показались ей спящей семьей. Даже сейчас, спустя целую жизнь, мертвые идут за ней, и она, желавшая раз и навсегда похоронить их и вздохнуть свободно, по-прежнему слышит их крики, как свои собственные.

Встав с софы, Тира раздвинула двойные стеклянные двери и вышла на балкон – ей был нужен глоток свежего воздуха, голоса и присутствие живых. Ее внимание привлекли шлепающие шаги и плеск в детском бассейне. Упитанная малышка в мокром купальничке незаметно отошла в дальний угол бассейна, ухватилась за край, навалившись животиком на кафельный бортик, и вскарабкалась. Вода, капая с купальника, оставляла на галечном мозаичном полу мокрый след, словно пуповина соединяя ребенка с водной первосредой. Женщина, настолько же белокожая, насколько малышка была смуглой, вдруг бросила разговаривать с приятельницей и громко сказала:

– Л?на?

В ту же секунду она бросилась за своей пухлой малышкой, которая уже обогнула колонны крытой дорожки, отделявшей мелкий «лягушатник» от взрослого бассейна.

– Л?на! Л?на, если ты снова прыгнешь, мама тебя…

Послышался громкий всплеск, полетели брызги.

Тира ушла обратно в номер и закрыла двери балкона, запотевшие от влажной жары, проникшей в прохладу. Она подышала на стекло, чтобы оно сделалось совсем матовым, кончиком указательного пальца провела прямую линию, точно щель, и посмотрела через нее на непролазные зеленые заросли прошлого.

В новой чистой тунике и брюках Старый Музыкант преобразился: теперь нищий выглядел респектабельным старцем. Такая одежда свободного кроя была популярна у лидеров Демократической Кампучии – правда, у них все было черного цвета. Черный практичен, его часто носят крестьяне, работающие в поле, однако во времена Демократической Кампучии черный приравняли к самому крестьянству, к сельски честному образу жизни, неподкупному и высокоморальному. Черный означал вымарывание, полное удаление. Партийные лидеры ошибочно полагали, что народ легко перевоспитать, что культуру, традиции и историю, складывавшиеся тысячелетиями, можно изгладить из памяти одним резким взмахом, вроде как замазать живописное полотно в связи со сменой ориентиров. Возможно, причиной этому стала кардинальная трансформация будущего партийного руководства во время обучения за границей в 50-е годы, особенно создание марксистского кружка в Париже.

Что касается самого Старого Музыканта, то, кроме короткого флирта с Америкой, он больше никуда не ездил – ни во Францию, где учились многие партийные руководители, ни в Югославию, где в Пол Поте проснулось революционное рвение, ни даже в соседний Вьетнам, где скрывались многие товарищи, и ни в одну из стран, чьи социалистические цели и взгляды Старый Музыкант готов был принять. Он, так сказать, был продуктом домашнего, отечественного образования, если таковое существовало в Камбодже при сильнейшем колониальном влиянии: сперва он обучался грамоте у монахов в храме, затем закончил среднюю школу и общественный колледж по французской системе, где в основном изучали западную классику и преподавание велось на французском языке.

Наверное, из-за вынужденного освоения языка своих бывших преподавателей Старый Музыкант воспринял английский как нечто новое и раскрепощающее и азартно погрузился в учебу, когда английский начали преподавать в его колледже искусств и торговли. Весной, накануне отъезда в Америку, он записался еще и на интенсивный курс. Учитель, индус из Бирмы, слывший коммунистом, щедро сдабривал теоретические выкладки из синтаксиса и грамматики рассуждениями о самоуправлении, политическом суверенитете и

всеобщем равенстве – концепциях не только коммунистических, как с горящими глазами говорил индус, но и демократических: Аниль Мехта был воодушевлен событиями на родине и прогрессом, которого добилась Индия после получения независимости и создания демократической республики.

Оглядываясь назад, Старый Музыкант гадал, не тогда ли в нем впервые проснулась политическая сознательность, пока он корпел над «Anglais Vivant d’Angleterre»[4 - «Живой английский» (фр.).], а мистер Мехта философским тоном отпускал социально-политические комментарии к примерам из учебников то на английском, то на французском? Или же новые идеи пустили корни в его душе гораздо раньше – одновременно с музыкой?

Старый Музыкант налил себе чашку чая, который оставался горячим в большом термосе – его, как и другие предметы в хижине, он унаследовал от покойного храмового уборщика. Он подул на дымящуюся жидкость, слегка пахнувшую жасмином, и сделал глоток.

Музыка. Она сопровождала его всю жизнь, пробиваясь к нему, проступая во всем, что он видел и делал, как непреклонная воля отца, которого он боялся, но о музыкальном гении которого мог только мечтать, несмотря на тростниковую палку, вдоволь нагулявшуюся по его спине.

Его отец был человеком бескомпромиссных взглядов. Старик считал музыку высочайшим благом, подарком небес, вроде дождя или солнечного света, которое грех принимать как должное или делать доступным лишь ушам привилегированного меньшинства. Старик мог по праву занять место среди именитых музыкантов и хорошо зарабатывать, играя для сливок общества, но в ответ на приглашения он жаловался на якобы разыгравшийся ревматизм, заявляя, что не годится в «развлекачи», и играл для бедняков, которым музыка служила единственным антидотом ежедневным невзгодам. Вначале отец играл любую музыку, от духовной до светской. Если аудитория состояла из бедняков, которым нечего было ему дать, он с радостью делился своим искусством просто так. Затем он вдруг перестал играть вовсе и брался за инструмент только как медиум на храмовых церемониях, когда садив становился способом общения с духами. Старик обеднел, едва мог прокормиться сам и прокормить жену, а их десятилетний сын – Тунь, как тогда звали Старого Музыканта, – вынужден был сам пробивать себе дорогу в большом мире.

Подростком он вступил в ансамбль и прославился не только игрой на садиве, доведенной до значительных высот под строгим, надо сказать, началом отца, но и песнями собственного сочинения и прекрасными стихами, которые Тунь исполнял для мертвых в обмен на подачки от живых. Если музыка, как считал его отец, средство исцеления, тогда нищета, как Тунь убедился в годы отчаянной нужды, когда они с матерью едва сводили концы с концами, – худшая из болезней. Он забывал о нищете с помощью музыки. Именно обет, принесенный самому себе, а не отцовская порка, поддерживали в нем дисциплину, заставляя достигать вершин в своем искусстве. Позже, будучи уважаемым и популярным музыкантом, Тунь не забывал, как скромно начинал, и чувствовал духовное родство с теми, кто добивался перемен, кто хотел для Камбоджи справедливого и честного общественного строя, кто мечтал видеть ее современной державой. Старый Музыкант примкнул к политической партии, увлекшись прогрессивными идеями, а когда его родной городок разбомбили американцы, стал членом подполья, всей душой приняв его бескомпромиссно-радикальную идеологию.

Старый Музыкант допил остатки чая. Мимо дверного проема пролетали, сплетаясь, голоса участников процессии.

– Пойдем-ка, маленький, – пробормотал он, беря садив, словно пробуждая его ото сна у стены. – Пора начинать церемонию.

Раттанаки с Макарой, родственниками и друзьями собирались перед сала бонг, залом для церемоний под открытым небом, где должен был состояться ритуал призыва духа обратно в тело. Солнце уже село, раскрасив небо желтыми и оранжевыми полосами, напоминавшими полет призраков. Перед собравшимися темнел Меконг, как длинный извивистый саван; лодки и каяки покачивались на воде, как украшения, на пробу прикрепленные к гобеленовому панно. Вдруг показалось, что эту могучую древнюю реку, глубоко врезавшуюся в землю много веков назад, можно поднять и встряхнуть, разгладив складки и морщины. В вечерних сумерках мир казался зыбким, иллюзорным, как детский рисунок пальцем на запотевшем стекле. И снова голос дочери зазвучал в ушах Старого Музыканта:

– Смотри, что я нарисовала, папа! Ты и я!

Это было туманное утро, девочка кивнула на изрисованное стекло машины.

– А что это такое длинное? – рассеянно спросил он. – Наг-кобра или гусеница?

– Папа, – засмеялась дочка, – ты уже совсем старый и глупый! Это же река, а это в нее втекают другие реки, вот как в эту, перед нами. Мы по ней поплывем. Ты и я вместе увидим новые места…

Должно быть, тогда она думала, что сможет сопровождать его в поездках. А Туня вдруг охватил страх: что, если, став взрослой, она полюбит какого-нибудь мужчину сильнее, чем его сейчас?

– А вот наша лодка! – воскликнула дочка, пририсовывая лодку. Пальчики так и танцевали у стекла. – С головой феникса! Или сделать из нее самолет?

Старый Музыкант приподнял руку, как если бы хотел стереть рисунок, и к нему тут же подошел доктор Нарунн.

– Дорога перед вами свободна, – заверил он, явно приняв жест своего друга за попытку нащупать путь в сумерках.

Старый Музыкант опустил руку и повернулся к доктору-монаху:

– Так кто это был, достопочтенный?

– Простите? – озадаченно переспросил врач.

– Сегодня днем. Вы сказали, что у молитвенного зала была посетительница?

– Ах да! На самом деле, никто. Иностранка, как я и предположил. Но азиатка. Может, из Бирмы. Или даже индианка – с такими прекрасными большими глазами! В общем, туристка, которая ни слова не знает на кхмерском… и вообще не разговаривает, – доктор Нарунн провел ладонью по обритой голове, будто смутившись безволосой кожи. – Идет себе девушка, медитирует на ходу, и тут я появляюсь сзади как из-под земли – лысый мужчина в, можно сказать, платье – и обращаюсь к ней на храмовом диалекте – желает ли набожная богомолица поклониться Господину Будде? Нелепо, правда? – Молодой врач засмеялся,

залившись краской, явно стесняясь воспоминаний о странной встрече и своем еще более странном приветствии. – Я готов был поклясться, что она кхмерка, одна из нас, но она бросилась бежать и исчезла, как существо иного мира: ее пралунг летел впереди, а остальное догоняло. Кажется, я насмерть перепугал нашу гостью – не удивлюсь, если она больше никогда не переступит порога кхмерского храма.

– Как она выглядела, достопочтенный?

– Она казалась…

– Прелестной?

– Потерянной, точно заблудившейся, я хотел сказать, – доктор прищурился с веселым подозрением. – Но она действительно была прелестна. Прелестна и растерянна.

Привычным тонким слухом Старый Музыкант безошибочно угадал несомненную увлеченность в голосе доктора Нарунна, как у влюбленного школяра, описывающего увиденную красивую девочку. Но сейчас у него не было настроения зондировать сердце доктора – его собственное стучало так, что кровь тяжелыми толчками отдавалась в ушах. Она была здесь. Теперь он в этом не сомневался. Она стояла на этой земле. Может, она даже видела его. Сутира. Мысленно он произнес ее имя, будто призывая обратно, но вдруг усомнился в своей фантазии: такое совпадение граничило с безумием.

– Что вы сказали? – переспросил доктор Нарунн.

– Ничего, достопочтенный, – ответил Старый Музыкант через стоявший в горле ком надежды и скорби.

Лок гру ачар – монах, которого настоятель назначил помогать с проведением церемонии, – вышел из собравшейся толпы и, поклонившись доктору Нарунну, сказал:

– Все здесь, достопочтенный. Мы готовы начинать.

Толпа окружила ствол бананового дерева, срубленного примерно на высоте роста Макары; на срез поставили глиняный горшок. Дерево был обернуто шелком-сырцом и украшено собственными плодами и листьями и кубиками сахарного тростника, нанизанными на бамбуковые палочки, – угощение, на которое должен польститься дух Макары. Доктор Нарунн, как старший монах и главное духовное лицо, обошел дерево, распевая сутру на пали, которой начиналась каждая церемония поклонения:

– Намо тасса бхагавато арахато самма самбуддхасса…

Восхваления Будды верный себе молодой врач продолжил интерпретацией на родном языке, несколько отличавшейся от традиционной формулы:

– Давайте почтим того, кто учен, мудр и сострадателен…

Доктор Нарунн окропил землю водой с ароматом лотосов из бронзовой чаши, чтобы освятить место и отогнать пронырливых лесных духов, наверняка слетевшихся полюбопытствовать: у некоторых хватит смекалки, соблазнившись угощением, войти в тело заболевшего мальчишки, чтобы отведать жертвенных лакомств. Старый Музыкант знал, что доктор Нарунн не сторонник суеверий, но как терапевт рад поспособствовать любому процессу выздоровления, как традиционному, так и не очень.

При виде Макары Старый Музыкант пожалел, что не обладает такой несокрушимой верой, как Нарунн: мальчишка напоминал живой труп. Он едва стоял на ногах – его поддерживали локтями стоявшие по бокам родители. С новенькой школьной формой, белой рубашкой и черными слаксами (и, судя по всему, недавно принятой ванной), контрастировали характерные симптомы метамфетаминовой зависимости, описанные доктором Нарунном. За несколько месяцев двенадцатилетний Макара страшно исхудал, став похожим на старика или скелет. Нескольких передних зубов не хватало, от других остались почерневшие пеньки; десны были воспаленные, красные. Перед церемонией Раттанаки, несомненно, попытались как следует отмыть своего отпрыска, но от Макары тянуло не только невыносимым смрадом гнилых зубов, но и странным мускусным запахом вроде кошачьей мочи, исходившим от всего тела. Прежде свежее, юное лицо Макары было густо усеяно язвами и болячками, воспаленными и кровоточащими от постоянного расчесывания. Но больше всего Старого Музыканта шокировала перемена с его глазами – взгляд Макары метался по сторонам, как у параноика, и казался одновременно пустым и

одержимым, словно мальчишку мучили призраки, которых никто больше не видел.

Если бы в человеке сидело чудовище, он бы выглядел вот так. Существо, проступавшее сквозь человеческую оболочку Макары, ужасалось ее способности разрушать не только других, но и себя. Когда-то и Старый Музыкант вот так же глядел на свое мутное отражение в луже собственной мочи, когда тюремный охранник в Слэк Даек избил его до кровавого месива. Однако, хотя он ничего так не хотел, как умереть, некая таинственная часть его натуры заставляла его подниматься навстречу новым ударам, делать новый вздох. Почему, зачем – он не знал и не был уверен, что знает это сейчас.

Овладев собой, Старый Музыкант сосредоточился на церемонии. В Камбодже бытует поверье, что пралунг человека, состоящий из девятнадцати различных черт, причем каждая черта действует сама по себе как отдельный мелкий дух и имеет свои слабости, так нежен и пуглив, что обращается в бегство при малейшей провокации. Но если так, тогда откуда берется сила, которая заставляет оставаться верным своим убеждениям и говорит смерти: «Если даже я паду, я тебе не покорюсь»? Есть ли у нее название? Или эта сила черпает свою мощь в безымянности? Может, ее непобедимость кроется именно в этой неуловимой изменчивости, в этой ее алхимии, в способности превращаться в то качество, которое нужно человеку перед лицом гибели, – смелость, непокорность или даже простое упрямство. «Почему ты никак не сдохнешь? – бормотал себе под нос другой тюремщик, его бывший солдат. – Что ж ты такой тупой-то? – В негромком обозленном рычании охранника угадывалось затаенное сочувствие – было ясно, что он искренне считает смерть избавлением от ада Слэк Даека. – Чего ради держишься?» В самом деле, чего ради он держался и почему продолжает держаться столько лет?

Старый Музыкант заставил себя вернуться мыслями к Макаре. Зная трущобы, где жили Раттанаки, он подумал, не скрыто ли и за пристрастием мальчишки к наркотикам стремление держаться за жизнь.

В несколько коротких шагов Нарунн поднялся в зал церемоний с четырьмя молодыми послушниками, и все они опустились на подушки, выложенные в ряд поверх соломенных циновок. Молодой доктор занял почетное место в центре. Монахи приняли позу лотоса, сидя лицом к реке, катившей свои воды метрах в десяти. Старый Музыкант с садивом в руках прошел следом и присел на соломенную циновку немного в стороне. Два коан саек – «попугайчика», как их

называли, маленьких сирот, привыкавших к монашеской жизни, учась петь и соблюдать основные заповеди, но еще слишком маленьких для принятия обетов, – вошли в зал, осторожно балансируя подносами с бокалами воды для монахов. Опустившись на колени, мальчики отставили подносы, трижды поклонились, поставили стакан воды перед каждым из монахов и снова поклонились три раза, всякий раз доставая лбом пола. После чего, не разгибая спин, чтобы их головы были ниже голов монахов, мальчишки покинули зал церемоний так же, как вошли, остановившись на мгновенье, чтобы предложить воды и Старому Музыканту. Для парочки необузданных бедокуров их движения были так идеально выверены, что у доктора Нарунна вырвался смешок, несколько нарушив серьезное, торжественное настроение церемонии.

Старый Музыкант достал из кармана рубашки бронзовый медиатор, надел на безымянный палец правой руки, несколько мгновений посидел неподвижно и начал дергать струну садива. Он позволил медной струне вибрировать секунду-другую, прежде чем остановить ее основанием ладони. Взявшись за конусовидную шишечку колка, он подтянул струну и снова попробовал ее, наклонив голову в сторону и подавшись вперед, словно вслушиваясь всем телом. Несколько раз он подтягивал и ослаблял единственную медную струну, пока не добился желаемой ноты, интонации, отражавшей самую суть музыки, звучавшей у него в голове. Настраивая садив, Старый Музыкант всегда говорил своим ученикам: дело не в том, чтобы импровизировать со струной или колком, а в том, чтобы найти основной звук, вокруг которого сплетаются другие ноты и возникает мелодия.

Если бы он мог дать имя родственной пралунгу жизненной силе, заставившей его выживать в страшные месяцы в Слэк Даеке, он назвал бы ее музыкой, зарождающимся резонансом, из которого происходит и названное, и безымянное.

Он немного наклонил садив, позволив лютне вытянуться от левой ключицы до правого бока. Прижимая куполообразный резонатор к груди там, где сердце, Старый Музыкант начал терпеливо, ласково уговаривать инструмент, играя бампае – колыбельную, легкую и бойкую. Каждая нота подражала звуку шагов ребенка, радостно, вприпрыжку возвращающегося домой после целого дня беззаботных игр.

Помогавший в церемонии монах ввел в зал Макару и его родителей, а мае гру – женщина-медиум – возглавила процессию родственников и друзей, которые

обошли вокруг павильона. Держа в одной руке глиняный горшок, а другой размахивая крышкой, мае гру зазывала дух Макары в сосуд. Ее стилизованные жесты напоминали танец. В деревне такая процессия обошла бы дом больного по лесу, но здесь, в городе, где жизнь течет быстрее, а пространство ограниченно, люди просто трижды обошли зал церемоний.

Наконец мае гру плотно закрыла глиняный горшок крышкой в знак того, что она поймала пралунг Макары. Старый Музыкант замедлил темп, заиграв более спокойную, размеренную музыкальную тему. Затем, прижав резонатор к сердцу, он изогнул струну, щипнул и отпустил, закончив затухающим звуком.

В марте 1974 года восьмой день рождения Сутиры отмечали необыкновенно пышно, пригласив целую толпу родственников и друзей. Девочка не помнила, чтобы ее семилетие праздновали с такой помпой. В какой-то момент отец отвел ее в сторону от общего веселья и сказал тихо, но настойчиво:

– Я ухожу. Мне нужно спрятаться.

Сутира засмеялась, думая, что ее серьезный, важный папа будет играть в прятки с младшими детьми, но у отца на глазах выступили слезы, он порывисто обнял Сутиру, а затем шепотом, прижавшись щекой к щеке дочери и касаясь губами ее волос, запел, как раньше, колыбельную, чтобы помочь маленькой Сутире заснуть и облегчить разлуку с папой на целую ночь.

– Это твой смоат, – сказал он, допев, выпуская дочь из теплых, но судорожных объятий. И тогда Сутира поняла – это не игра, папа на самом деле уходит, а смоат – его подарок на день рождения. Не нужно ей такого подарка! Но как вернуть спетую песню, заставить замолчать прозвучавший стих? Это все равно что пытаться остановить время, чтобы ей не исполнялось восемь. Вот бы рядом оказались часы – Сутира перевела бы их назад, но единственный частый стук, напоминавший тиканье, исходил от ее забившегося сердца. Оно билось все быстрее и быстрее, загоняя темп. Все остальное было неподвижно.

«Подожди!» – хотела она закричать, но слово застряло в горле. Точно подавившись, Сутира смотрела, как папа повернулся и скрылся из виду. Из сада, выходившего на Меконг, послышалась музыка рамвонга. Певец призывал и манил, вокалистка проникновенно-негромко отвечала, а традиционные па и

жесты точно оплетали их невидимыми путами.

Взрослые и дети с одинаковым азартом начали танцевать. Толпа взорвалась ликующими криками: казалось, подпевали все. Праздник продолжался до поздней ночи – никому не было дела до горя Сутиры, до ее немого смятения. Утром девочка проснулась, надеясь, что ей все приснилось, но когда она пошла искать папу, его нигде не оказалось. Папино отсутствие наполнило огромный дом невыразимой тоской, заглушив воспоминания о вчерашнем празднике.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Здесь – мемориальное сооружение в форме полусферы (прим. переводчика).

2

Привет! Как дела? (фр.)

3

Папа, мама, смотрите, ящерица! (фр.)

4

«Живой английский» (фр.).

---

Купить: https://tellnovel.com/ratner_vedey/muzyka-prizrakov

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити